

18 Виктор Добрынин

МЛАДЕНЕЦ ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ



Виктор Добрынин

Младенец из концлагеря

<https://litres.ru/74503378>

ISBN 9785007126946

Аннотация

Кёльн, 1942 год. Восемнадцатилетняя Зоя работает в приюте. Двдцатидвухлетний Макс — надежда немецкого плавания. Бывшая надежда, потому что Макс — еврей. Как и Зоя. Их жизни, как и жизни тысяч других людей, день за днём обесцениваются. Судьба приводит Зою и Макса в лагерь смерти Майданек, где их милосердие столкнётся с жестокостью, страхом и предательством. Основанный на исторических документах и воспоминаниях выживших, этот роман — история о нравственном выборе и силе человека оставаться собой.

Содержание

Глава 1. Последняя весна Зои	5
Глава 2. Красное платье	11
Глава 3. Белая роза	15
Глава 4. Соседка	18
Глава 5. Железный крест	22
Глава 6. Обычный день	26
Глава 7. Гретта и её голоса	30
Глава 8. Давид. Мальчик, который видел всё	41
Глава 9. Человек сломался	48
Глава 10. Младенец, у которого нет имени	52
Глава 11. Облава	56
Глава 12. Мишка Теодор	65
Глава 13. День матери	73
Глава 14. Возвращение	84
Глава 15. Макс	96
Глава 16. Последний заплыв	110
Глава 17. Слепые окна гестапо	124
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Младенец из концлагеря

Виктор Добрынин

© Виктор Добрынин, 2026

ISBN 978-5-0071-2694-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Последняя весна Зои

Моей маме, жене, сыну...

Май 1942 года выдался в Кёльне на удивление ласковым. Поздняя весна укрыла город мягким теплом; над Рейном, у которого теснились добротные бюргерские кварталы, разливалась обманчивая нежность — та самая, когда воздух кажется густым и сладким, как мёд, а тишина вокруг лишь сильнее оттеняет тревогу времени.

Из раскрытого окна табачной лавки, раскачиваемое вечерним ветром, выплывал знакомый напев «Лили Марлен» — тот самый, что каждый день без конца звучал по радио для солдат. Но здесь, на узкой улице, он терял всякую лёгкость: казался не песней, а поминальной молитвой над теми, кто уже никогда не вернётся с поля боя.

За прилавком, среди сигаретных пачек и жестяных банок с табаком, хозяин медленно, без всякого усердия протирал стекло и, не взглянув ни на кого, бросил в глубину лавки:

— Снова эта песня... — Он качнул головой в сторону радиоприёмника. — Словно заупокойная молитва. Уже тошнит от неё.

Ему никто не ответил. Улица тонула в майской тишине, и лишь изредка звякал велосипедный звонок, да где-то вдалеке, будто сквозь сон, глухо отдавался стук трамвая.

На балконе соседнего дома немолодая женщина развешивала выстиранное бельё. Влажные белые простыни тяжело шевелились на ветру, словно неохотно подчиняясь этому серому дню. Она почти неслышно машинально подпевала радио, не разбирая слов, — так поют вполголоса люди, привыкшие к однообразию будней и к степенному течению жизни.

На её лице лежала тень усталости, однако в каждом движении по-прежнему чувствовалась выработанная годами хозяйская аккуратность — та самая, что помогала ей удерживать обитель в чистоте и порядке даже теперь, когда мир вокруг рушился как карточный домик.

Она не заметила, как на соседней улице у газетного киоска замерли двое в штатском.

Они стояли чуть поодаль от спешащих прохожих и не обменивались ни словом, ни взглядом, и всё же в их неподвижности чувствовалось то выученное, настороженное ожидание, по которому опытный человек без труда распознал бы в них матёрых ищек. Старший, с серым, будто выцветшим лицом и гладко зачёсанными назад волосами, держал руки в карманах плаща. Молодой же, заметно нервничая, теребил в пальцах сложенную газету и то и дело украдкой поглядывал на балконы, на окна, на людей, проходивших мимо.

Старший вынул из кармана свежий выпуск «Völkischer Beobachter», «Фёлькишер Беобахтер». На первой странице бросался в глаза крупный, давящий заголовок: «Тотальная война требует новых жертв». Он слегка коснулся пальцем га-

зетного листа, хотя ясно было, что речь там шла не о сводках с фронта. Меж аккуратно сложенных страниц, как уже бывало не раз, был спрятан вдвое перегнутый конверт с донесением: список имён, переданный осведомителем своему куратору в гестапо.

Второй лишь едва заметно кивнул: объяснения были не нужны, он и так понял, что в списке снова возникло чьё-то имя, кому-то уже фактически подписали приговор, а тёмная цепочка доноса, переходя от одного к другому, тянулась дальше — туда, где в полутёмных кабинетах стояли запахи табака, влажной бумаги и страха.

Потом они сделали по несколько глубоких затяжек, и сигаретный дым на короткое время скрыл их лица. В этом дрожащем облаке каждый из них, прищурившись, пытался в случайных прохожих распознать возможного доносчика. А до этого они успели обменяться быстрым, почти неуловимым взглядом: в нём чувствовалась давняя привычка понимать друг друга без слов, но рядом с ней — скрытое напряжение, подозрительность и то особое беспокойство, с которым люди в такие времена смотрят даже на тех, кто стоит с ними плечом к плечу.

Не обменявшись больше ни словом, они разошлись в разные стороны и очень скоро растворились среди людей, так и не попрощавшись, словно этой встречи никогда не было.

Их сегодняшняя работа была завершена. Война, ставшая тотальной, требовала жертв не только на передовой, где каж-

дый день проливалась кровь, но и в тылу, где враг мог прятаться за лицом соседа, за приветливой вывеской лавочки, за взглядом случайного прохожего, слишком долго задержавшегося на тебе.

Из громкоговорителя, прикреплённого к столбу, вырвались первые такты военного марша, но тут же их перебил сухой, безжизненный голос диктора. Он ровно и без эмоций зачитывал очередное сообщение о продвижении вермахта на Восточном фронте — о тех «успехах», которые повторялись так настойчиво, что уже никого не могли поразить. Музыка же, едва скользнув по улице тусклым отблеском, быстро растворилась, уступив место этой сухой сводке.

Теперь этот голос звучал повсюду — в каждом окне, на каждом перекрёстке, он словно сросся с городским бытом, как стук колёс телеги по камню или дым, тянущийся над крышами от печей. К нему давно привыкли: люди шли мимо, отводя взгляд, будто не желали замечать, как на горизонте уже сгущались тучи надвигающегося краха.

Только один пожилой человек, опираясь на трость, остановился. Он снял шляпу, затем, не глядя по сторонам, быстро свернул в узкий переулок — подальше от этого голоса, от громких речей о победе и от самой войны, которая, казалось, уже проникла в каждую щель мостовой.

У самой двери комендатуры, лениво привалившись к стене, курили трое эсэсовцев. Они держались так, словно им принадлежало всё вокруг — и улица, и раскалённое небо над

ней. Тёмная форма резко выделялась на фоне светлой, рас­трескавшейся от солнца и времени штукатурки, из-за чего их фигуры казались ещё более зловещими.

Они неизменно бросались в глаза, поэтому прохожие старались не смотреть на них слишком долго.

Люди шли, уставившись в землю и изображая занятость, хотя почти каждый всё же украдкой смотрел в их сторону. Но стоило встретиться с их колючими взглядами, как шаг произвольно ускорялся.

— Ты только посмотри, — тихо сказал один из эсэсовцев, выдыхая узкую змейку дыма и лениво прищуриваясь вслед прохожим, — идут, будто каждый занят своим делом, глаза в землю, а сами всё равно то и дело косятся на нас.

Второй лишь чуть искривил губы в усмешке и, не обращая внимания на прохожих, спокойно и ровно сказал:

— Ничего... Пусть смотрят и привыкают уже, что мы тут закон.

Третий промолчал. Он лишь щёлкнул мундштуком, а затем проводил взглядом сутулого старика, с трудом нёсшего на плече мешок с чем-то громоздким и бесформенным.

Но ни один из них — ни люди, пьющие суррогатный кофе под полосатыми тентами, ни уса­тый трамвайный вагоновожатый, спо­койно ожидавший у рельсов, ни мальчик с воздушным змеем, в чьих глазах ещё свети­лась та беззаботная, ясная радость, которую потом, спустя всего пару лет, родители будут вспоминать со слезами, стоя у надгробий, — не

подозревал, что этот май станет для них последним мирным временем. Всего через несколько недель над этими же черепичными крышами завоюют сирены, и небо, казавшееся вечным и мирным, будут рассекать чёрные тени «Ланкастеров». И тот самый мальчик с воздушным змеем окажется уже не за школьной партой, а в сыром подвале, пропахшем машинным маслом и металлом, где он будет разбирать винтовку и потом снова собирать её.

Но пока в Кёльне сохранялось ощущение спокойствия, город жил своей привычной жизнью. По улицам разливался аромат цветущих лип, перемешанный с резким запахом бензина. На площадях гуляли люди, дети смеялись и бегали, и всё вокруг будто обещало, что так будет всегда. Однако вся эта внешняя безмятежность была лишь иллюзией.

Глава 2. Красное платье

«Какой солнечный и прекрасный день», — подумала Зоя, проходя мимо ателье, и невольно остановилась, пленённая собственным отражением в витрине.

Среди восковых фигурок в шляпках с вуалью и среди россыпи перламутровых пуговиц она внезапно различила собственное отражение и на секунду почувствовала себя так, будто смотрит на портрет совсем незнакомой ей женщины. С Рейна подул ветер, принёсший запах влажной гальки и речной тины, и он чуть взъерошил её густые чёрные пряди. В зеркальной поверхности витрины сверкнули карие глаза с золотистыми искрами, светлая, почти просвечивающая у висков кожа и изящно вылепленное лицо с резкими скулами — та самая линия, которую художники с уважением называют аристократическим профилем.

Из-за кружевной гардины напротив за нею следила жена булочника Шмидта. Она стояла, скрестив руки на груди, и в прищуренных глазах её читалось не одно лишь осуждение — нечто более цепкое, похожее на взгляд оценщика, прикидывающего цену чужой вещи. Зоя знала этот взгляд. За минувший год она успела научиться различать их оттенки: от молчаливой неприязни соседей до пристального, изучающего взгляда эсэсовцев у комендатуры. Но здесь ощущалось иное. В этом внимании было что-то личное, почти интим-

ное — так смотрят на женщину, которой, согласно вбитым в головы нацистской пропагандой канонам, нельзя было быть красивой. И от этого её ненавидят ещё сильнее.

Бессознательно она поправила воротник своего неброского серого платья — того самого, что было сшито по фасону добропорядочной бюргерши: узкий рукав, белый отложной воротничок, ткань, уже начавшая лосниться на сгибах. Зоя помнила наизусть каждую строчку шва, каждую преждевременно залатанную дырочку. В кармане лежал талон на мыло, который она уже вторую неделю безуспешно пыталась обменять хоть на какую-нибудь еду, а рядом — маленький засаленный кошелёк, где тихо позванивали несколько пфеннигов. Из другого кармана выглядывал край вчерашней газеты с крупным заголовком: «Еврейский вопрос требует немедленного решения». Солнце мягко грело затылок, день был самым обычным, почти безмятежным, и всё же внутри, где-то глубоко под рёбрами, тянуло и саднило — то ли от голода, то ли от этого неясного предчувствия, когда в спокойствии уже чувствуется приближение беды.

Она уже собиралась отвернуться от витрины, но что-то неожиданно заставило её задержать взгляд.

Чуть в стороне, в витрине того же ателье, на бархатной подставке под бледным золотом полуденного света сияло красное платье. Его атласная ткань играла оттенками: на свету она вспыхивала, будто свежая кровь, а в тени наливалась густым бордо, почти уходя в черноту, словно старое вино,

выдержанное долгими годами.

Едва она представила себя в нём, как всё вокруг будто стало другим: исчезла утренняя тревожность, растворилась усталость, и на душе сразу посветлело. Ей казалось, что она снова идёт по знакомой улице, но теперь — воздушной походкой. Мягкая ткань красиво ложится по фигуре, следуя за каждым её движением, а ветер играет с подолом. Мужчины, проходя мимо, непременно приподнимают шляпы, женщины дарят ей одобрительные улыбки. Только сама Зоя едва замечает их взгляды: всё её внимание было бы отдано алому сиянию наряда, и в этом воображаемом образе она кружилась бы под тихую музыку шубертовского вальса.

Внезапный образ так же быстро исчез, как и возник. Зоя снова оказалась у витрины: на ней было серое платье, в руке — тощий кошелёк. Это платье ей всё равно было не по карману. Но помечтать никто не мешал.

— Нет, — она решительно покачала головой. — Сегодня мне не до этого.

Затем она провела ладонями по подолу, разглаживая смятые складки и стараясь привести в порядок ткань, которая у самого края уже истончилась до почти прозрачных нитей, после чего двинулась дальше.

Зоя успела проскочить через дорогу буквально в нескольких шагах от трамвая. Водитель, тот самый усатый баварец, сразу узнал её, поднял руку и дружелюбно помахал в знак приветствия. Она в ответ тоже махнула ему рукой.

Впереди уже замаячили окна приюта святого Стефана, но сначала ей нужно было заглянуть в цветочный магазин — маленький уголок, где ещё витали ароматы свежих цветов и живого дыхания дня, совсем не похожие на запахи, что обычно стояли в приюте.

Глава 3. Белая роза

Герр Шахт был человеком самой заурядной внешности: невысокий, слегка сутулый, с постоянно влажными ладонями, пахнувшими сырой землёй и свежесрезанными цветочными стеблями. Но в нём было то, что сразу выделяло его из числа остальных, — его улыбка. Она была простой, искренней и удивительно тёплой, без той навязчивой угодливости, к которой Зоя давно уже успела привыкнуть у мужчин. Порой, если в лавке не оказывалось его жены, он вручал ей белую розу и ласково произносил: «Фройляйн Зоя, этот цветок вам необыкновенно идёт». В такие моменты, когда лепестки едва заметно дрожали у неё в пальцах, а в его голосе звучала спокойная, трогательная забота, Зое начинало казаться, что доброта всё ещё существует в этом мире.

Но сегодня за прилавком стояла Хильда — жена хозяина, женщина с неприветливым, сварливым характером. Её сжатые губы и узкие, недоверчивые глаза создавали ощущение, будто она всегда настороже и никому не доверяет. Зою она даже не поприветствовала: только сложила руки на груди и, не отрывая взгляда от входа, молча дежурила у лавки, словно сторожевой пёс, готовый в любую минуту прогнать нежеланного гостя.

Зоя вошла почти на цыпочках, стараясь не нарушить тишину. У двери едва звякнул колокольчик, но тут же затих,

словно испугался собственного голоса и поспешил раствориться в напряжённой тишине. Внутри лавки стоял густой, сырой запах земли, смешанный с влажной зеленью, только что срезанными стеблями и сладковатой горечью увядающих цветов, опавших со вчерашних букетов.

Этот аромат был ей знаком с самых ранних лет: он неизменно возвращал её в те редкие мгновения детской радости, когда мать перед праздником приносила домой скромную веточку мимозы от цветочницы. Но теперь всё это: и знакомый запах, и сама лавка — воспринималось Зоей как нечто чужое, холодное и почти враждебное.

— Добрый день, фрау Шахт, — сказала она тише, чем собиралась, словно боялась неосторожным словом нарушить зыбкое равновесие, ещё державшее её на пороге этой чужой, настороженно замершей лавки.

Хильда ничего не сказала; вместо этого она лишь сильнее сузила глаза. Поначалу её молчание можно было счесть обычной неловкостью, но довольно скоро в нём проявилось другое — плохо скрываемая неприязнь, почти неприкрытая враждебность. Потом её взгляд опустился к левой стороне груди Зои, туда, где на одежде была пришита жёлтая звезда с надписью «Jude», то есть «Еврей». И тогда Зоя сразу поняла: Хильда смотрела на неё уже не как на покупательницу, а как на врага.

В конце концов фрау Шахт заговорила, чуть приподняв сухие губы, и произнесла резко, с явным недовольством:

— Сегодня герр Шахт не работает.

— Как досадно, — негромко произнесла Зоя. — Но цветы-то купить можно?

— Да, — коротко бросила Хильда, даже не посмотрев в её сторону.

Зоя выбрала из вазы у входа белую розу — ту, что напоминала ей о свежести раннего утра, — положила на прилавок несколько пфеннигов и направилась к выходу, не оглянувшись. Хильда, разумеется, так и не сказала ей ни слова на прощание.

Оказавшись на улице, Зоя на секунду задержалась, крепко прижимая розу к себе. Ей уже было ясно, кому предназначен этот цветок. Более того, она понимала: этот скромный подарок — не просто знак вежливости, а робкое, почти незаметное противостояние всему, что нависало вокруг и сгушалось, как тучи перед грозой. От этой мысли дрожь, оставшаяся в ней после встречи с фрау Шахт, немного ослабла.

Глава 4. Соседка

Зоя узнавала о Хильде и о многих других событиях, случившихся в округе за последнее время, вовсе не от родителей. Отец был немногословен по натуре, а мать никогда не стремилась вмешиваться в чужие проблемы. Все эти сведения накапливались медленно, по крупицам, точно рассыпанные зёрна, которые приходится подбирать одно за другим. Чаще всего до неё долетали обрывки женских разговоров у водяной колонки, но стоило Зое приблизиться, как собеседницы тут же замолкали. Она уже давно не удивлялась такому поведению: при её появлении разговоры обрывались, а лица женщин становились каменными и непроницаемыми, как захлопнутые ставни. Из случайных оговорок, поспешно недосказанных фраз и коротких настороженных взглядов у неё постепенно выстраивалась картина — не совсем ясная, но достаточная, чтобы уловить суть.

В далёком 1930 году Хильда вступила в ряды НСДАП¹. Однажды Зоя заметила на отвороте её пальто маленький

¹ НСДАП — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), ультраправая политическая сила в Германии в 1920—1945 годах, ставшая основой нацистского режима: с января 1933 года — правящая, а с июля 1933-го — единственная легальная партия страны, чья идеология и политика привели к масштабным преступлениям против человечности и развязыванию Второй мировой войны; на Нюрнбергском процессе руководящий аппарат НСДАП был признан преступной организацией.

эмалевый знак — свастика чёрного цвета на белом фоне. Хильда не стремилась его демонстрировать, но и не скрывала. Она искренне разделяла нацистские взгляды и, как примерная немецкая хозяйка, старательно строчила доносы в гестапо на семью Штайнеров, которые жили двумя домами дальше. Никто не просил её об этом и не принуждал — она делала это по велению собственного убеждения.

О семье Штайнеров Зоя прежде почти ничего не слышала, разве что их фамилия время от времени мелькала в пересудах соседей. Однако после того, как всплыла история с доносами Хильды, это имя уже не воспринималось как нечто безликое. Оно стало для неё вполне реальным, с живыми, осязаемыми чертами. И даже воздух возле их дома показался Зое ещё более вязким и насыщенным.

Особенно трудно Зое давалось выдерживать взгляд Хильды. Она чувствовала: для этой женщины она ничем не отличалась от остальных, на которых уже успели лечь доносы.

Хильда смотрела на неё не как на обычную соседку, а как на человека, которого уже заранее приговорили. В её взгляде была не личная обида, а выученная, жёсткая ненависть, подпитанная чужими установками и долго вбиваемой злобой. Ей казалось, что у Зои не может быть такого лица: тёмные волосы, очень светлая кожа, тонкие, почти утончённые черты — всё это раздражало Хильду, выглядело для неё неправильным и даже дерзким. После бесконечных кинохроник и пропагандистских сюжетов она, как ей казалось, отчётливо

представляла, каким обязан быть образ врага. Но Зоя шла, высоко держа голову, не пряталась, не сутулилась, будто и не принадлежала к тем, кого надлежало заставить прятаться в норах, как крыс.

Хильда не имела ни малейшего представления о том, чем именно занимается Зоя в приюте, да и интересоваться этим не собиралась. Для неё всё давно свелось к удобному и простому выводу: если еврейка помогает нищим и тем, кого власти считают ненадёжными, значит, сама она относится к тем, кто разъедает Великую Германию изнутри. Фюрер, как ей было внушено, требовал выявлять подозрительных — и Хильда исполняла это требование с усердием человека, уверенного, что он служит не злу, а высокой и справедливой цели.

Именно это и пугало сильнее всего. Хильда вовсе не выглядела чудовищем: она была всего лишь крошечной, почти незаметной шестерёнкой в огромной машине геббельсовской пропаганды Третьего рейха. И даже не открытая враждебность казалась по-настоящему страшной, а её твёрдая, безоговорочная вера. И если ненависть со временем может иссякнуть, рассыпаться в прах, то убеждение, однажды глубоко поселившееся в человеке, уже почти невозможно искоренить.

Уходя от цветочной лавки, Зоя всё время ощущала на себе взгляд фрау Шахт — настойчивый, цепкий, будто провожающий её до самого конца улицы. Она точно не знала, упо-

миналось ли её имя в доносах этой женщины, но и одной этой мысли хватило, чтобы ускорить шаг и как можно скорее уйти прочь.

Глава 5. Железный крест

На втором этаже старого четырёхэтажного дома с зелёными ставнями находилась квартира людей, о которых Хильда регулярно сообщала в доносах. Сам дом ничем особенным не выделялся среди соседних построек этого квартала: за его стенами жили не только Штайнеры, но и ещё несколько семей, и у каждого за дверью скрывалась своя, недоступная посторонним жизнь. Зоя ненадолго притормозила у входа, глядя на это здание.

Окна в доме были плотно закрыты шторами, хотя на улице только начинало светать. И Зоя вдруг явственно увидела фрау Штайнер, сидящую в полутьме и напряжённо ловящую каждый шорох на лестнице.

Тем временем герр Штайнер проводил урок и читал ученикам стихи, но каждый раз вздрагивал, когда за дверью раздавались чьи-то голоса. Их жизнь проходила в напряжённом ожидании, словно любой шорох вот-вот превратится в шаги у лестничного пролёта и остановится уже возле их двери. Зоя сама никогда не бывала в этом доме, однако о его хозяине ей было известно всё то, что знали и другие, а ещё то, о чём соседи предпочитали не говорить, опасаясь вызвать к себе лишнее внимание.

Герр Штайнер преподавал литературу в гимназии. Он производил впечатление спокойного, немного застенчивого

человека; его мягкий, почти неслышный взгляд не выдавал ни раздражения, ни злобы.

Он не привык повышать голос и никогда не бежал к директору с жалобами на учеников, даже если те иногда срывали занятие. И в тот день он повёл себя так же: самый шумный мальчишка запустил по классу бумажный самолётик, но тот не долетел до доски и мягко опустился на открытую книгу. Штайнер ненадолго прервался, достал игрушку из учебника, аккуратно разгладил её крылья и, возвращая озорнику, произнёс:

— Генрих, если бы ты с тем же усердием, с каким сейчас мастеришь бумажные самолётики, занимался Гёте, из тебя мог бы получиться отменный пилот Люфтваффе. Но, пожалуйста, оставь эти развлечения на время после урока, договорились?

И, развернувшись к остальным ученикам, он спокойно сказал, словно не произошло ничего особенного:

— Что ж, тогда продолжим, ребята.

В ту же секунду в классе воцарилось молчание — не от испуга, а как знак искреннего уважения к учителю.

Герр Штайнер однажды появился в классе с крошечным бельчонком на руках. Зверёк был совсем слабым, дрожал всем телом и едва держался из-за сломанной лапки. Его мать погубили мальчишки из гитлерюгенда в коричневых мундирах: они ради забавы обстреливали её из рогаток, и один камешек попал прямо в сердце.

Штайнер не бросил малыша. Он долго заботился о нём, кормил молоком из пипетки, аккуратно перевязал повреждённую лапку и дал ему имя Фриц. Благодаря его уходу бельчонок остался жив.

Он сам смастерил для него небольшую клетку из проволоки и деревянных планок, и Фриц быстро устроился в ней, негромко шурша ореховой скорлупой и посматривая на класс своими чёрными блестящими глазами, похожими на бусины. Директор хмурился из-за этого грызуна, однако возразить не решался: учителя здесь ценили слишком высоко. Возможно, немалую роль в этом играл и Железный крест, тускло, незаметно поблёскивавший на его кителе, — награда за военный подвиг, совершённый ещё в прежнюю войну.

Зоя неожиданно припомнила историю, которую когда-то рассказывал отец о Штайнере. В 1917 году, под Верденом, он вынес с поля боя своего раненого командира. Сам Штайнер получил ранение в голову и был весь в собственной крови, но не бросил офицера и продолжал тащить его, пока не потерял сознание. За этот поступок ему вручили Железный крест. Через три дня, придя в себя в лазарете, он первым делом спросил: «Командир жив?» Услышав утвердительный ответ, он опять отключился.

После окончания Первой мировой войны улицы города заполнились беспризорниками — детьми, которые рано остались без семьи: их отцы навеки остались лежать в сырой окопной земле, а матери не смогли пережить случившееся.

В течение целого года Штайнер приносил им из дома еду, отдавая даже то небольшое, что было у него самого. Он просто делился с ними молча, не рассчитывая ни на благодарность, ни на какие-либо слова в ответ, потому что по-другому поступить не мог.

Зоя оторвала взгляд от дома с зелёными ставнями, и по спине у неё пробежал холод. Дело было не в ветре: её поразила жуткая мысль, что Хильда уже отправила донос и теперь просто выжидает, когда бумага попадёт в нужные руки. После этого бездушный механизм рейха незамедлительно приведёт приговор в исполнение.

Она невольно содрогнулась, сильнее сжала розу в руке и почти сразу ускорила шаг. Но плотно закрытые ставни ещё долго не выходили у неё из головы.

Глава 6. Обычный день

Зоя подошла к приюту как раз в тот момент, когда с колокольни соседнего храма стих последний удар девятичасового звона. Она потянула на себя массивную дубовую дверь, и старые петли ответили низким, долгим скрипом — звуком, до боли знакомым и будничным.

Внутри стоял полумрак, насквозь пропитанный затхлым запахом вчерашней тушёной капусты. Откуда-то из глубины коридора доносилось мерное поскрипывание: один из постельцев неторопливо покачивался на стуле.

Едва она успела добраться до прихожей, как вслед за ней в приют стремительно влетела фрау Бехер — жена булочника, раскрасневшаяся, тяжело дышащая, с платком, сбившимся набок.

Её пекарня находилась буквально через дорогу от школы. Едва Зоя помогла женщине опуститься на скамейку в коридоре, как та вцепилась ей в руки и, задыхаясь от волнения, выпалила:

— Штайнера арестовали. Прямо сейчас, на уроке, при всех... Ты можешь в это поверить, Зоя? Ему даже не позволили собрать свои вещи!

В тот самый момент, когда Штайнер у доски, держа раскрытую книгу, читал детям стихи Гёте о жёлтых розах, в класс вошли двое мужчин. На них были чёрные кожаные

плащи, сапоги, отполированные до зеркального блеска, и шляпы, надвинутые так низко, что лица почти полностью скрывались в тени. Сначала он не сразу осознал, что происходит. Один из пришедших без слов показал удостоверение, а второй встал у двери, преградив путь к выходу.

— Герр Штайнер? Вы арестованы. Прошу следовать за нами, — без эмоций сказал один из них.

Он не сопротивлялся и не возражал. Уже на самом выходе он вдруг задержался, оглянулся и медленно окинул взглядом комнату: сначала стол с неразобранной стопкой тетрадей, потом клетку, где в своём маленьком домике, свернувшись клубочком, спал бельчонок Фриц, и лишь затем — учеников, сидевших с распахнутыми от удивления ртами. Генрих, тот самый мальчик, который однажды пустил по классу бумажный самолётик, чуть приподнялся, будто хотел вмешаться. Штайнер едва заметно покачал головой, давая понять: не стоит.

В спешке и суете он не успел взять с собой ничего, его залатанный пиджак так и остался висеть на спинке стула.

Зоя невольно перевела взгляд на руки женщины и увидела, как чуть заметно дрожали её пальцы — похоже, собственная история тронула её сильнее, чем она ожидала. Сделав паузу, женщина сняла платок и промокнула им лоб, на котором проступила испарина.

— Фрау Бехер, одну секунду, — откликнулась Зоя, вставая со скамьи. — Я сейчас принесу вам воды.

Зоя направилась на кухню и вскоре принесла стакан воды. Фрау Бехер сжала его в обеих руках, будто надеясь найти в нём точку опоры, но так и не сделала ни глотка. Вместо этого она сидела, не отрывая взгляда от стены.

— Как же так, Зоя... — наконец выдохнула она, не скрывая растерянности. — Прямо на уроке... При детях...

Фрау Бехер рассказала такую страшную историю, что Зоя не нашла что ей ответить. Она лишь стояла рядом, не произнося ни слова, а когда женщина поставила стакан на скамью и так же внезапно исчезла, Зоя всё ещё не могла прийти в себя.

Когда шаги Фрау Бехер окончательно стихли, Зоя всё ещё не решалась двинуться с места. Перед глазами упорно стоял Штайнер — на пороге класса, с лицом, обращённым куда-то в сторону, словно он уже был далеко от людей, от дня и от самой жизни. Ей виделся и бельчонок Фриц, спокойно дремавший в клетке и не знавший, что хозяин больше никогда не вернётся. В памяти всплывали и ученики, сидевшие с приоткрытыми ртами, словно и они не сразу смогли осознать произошедшее. Зоя прижала ладонь к груди. Та боль, которую она ощутила ещё у дома с зелёными ставнями, никуда не исчезла — напротив, она стала глубже и осязаемей, будто внутри что-то живое треснуло и теперь болело всё сильнее, не оставляя ей покоя.

Фрау Кляйн, работавшая уборщицей в гимназии, забрала к себе маленького бельчонка. После того как его хозяин ис-

чез, зверёк три дня почти не притрагивался к еде, а на четвёртый день совсем обессилел, свернулся в комочек, сделал несколько последних вдохов и издох. Позже, когда она хоронила его под старой рябиной возле школьного здания, слёзы непрерывно текли по её щекам. Склоняясь над сырой землёй, фрау Кляйн вдруг осознала: любое живое существо, даже самое маленькое, способно испытывать боль, страдать от разлуки и увядать от потери близких почти так же, как человек.

Глава 7. Гретта и её голоса

Зоя опёрлась о стену и пыталась осмыслить то, что только что услышала. Тогда она ещё не представляла, что годы спустя, когда война уже останется позади, из обрывков документов и поздних свидетельств выживших всплывёт страшная правда: герр Штайнер с самого начала скрывал у себя дома еврейскую семью. Именно это и стало причиной его ареста. Его сначала подвергнут жестоким допросам в подвалах гестапо на Аппельхофплац, а затем отправят в концлагерь. И там, в печах крематориев, он превратится в прах вместе с теми, кого пытался спасти и кого так долго прятал от смерти.

Но всё это случится позже. Сейчас же Зоя снова и снова прокручивала в памяти события прошедшего дня. Тишина вокруг сгустилась до звона в ушах, и в этой тишине отдалённый оклик сестры Маргарет прозвучал как спасительная нить. Зоя двинулась туда, откуда доносился голос.

— Зоя, это ты? Пожалуйста, подойди, мне нужна твоя помощь.

В проёме кладовой стояла сестра Маргарет — пожилая, полная женщина с крупными ладонями, способными и бережно поднять младенца, и крепко удержать шприц, и без единого колебания донести ведро с кипятком. Косынка, как всегда, съехала ей на затылок, а на щеке темнело пятно сажи — похоже, снова возилась у печи.

Зоя увидела на щеке сестры след копоты и невольно всмотрелась в её лицо, исчерченное морщинами. В тот же момент перед ней с прежней отчётливостью вспыхнула та ночь, которую она помнила уже три года и не могла вычеркнуть из памяти.

Ей было всего пятнадцать лет. После бессонной ночи и изнурительной смены она присела на стул возле входа в женский блок и, окончательно обессилив, уснула на посту. Очнувшись, она уже оказалась снаружи, на грязной земле, а её голова лежала на коленях сестры Маргарет. Вверху нависало чёрное небо, а воздух был пропитан дымом и гарью.

Маргарет, испачканная сажей и в разорванном платье, торопливо прикоснулась дрожащими пальцами к лицу Зои.

— Слава пресвятой деве Марии, ты пришла в себя, — с явным облегчением сказала она. — Я уже решила, что ты умерла.

В её голосе слышалась уверенность, однако дрожь в пальцах выдавала, насколько сильно она испугалась.

Зоя попыталась приподняться, но Маргарет сразу же остановила её:

— Лежи, лежи, девочка моя. Восстанавливай силы.

— Я и не заметила, как уснула... — протянула Зоя.

— Что ты! Жива — и слава Богу. Постояльцы тоже целы. А вещи — дело наживное. Ступай в комнату сторожа, отдохни. И запомни: на дежурстве больше не дремать.

Сказав это, Маргарет стряхнула с передника сажу, одёр-

нула разорванный рукав и, словно ничего не произошло, добавила:

— Я ведь давно говорила, что с проводкой у нас беда. Вот и доигрались, лодыри. Ещё повезло, что огонь добрался только до матрасов, а не охватил всё здание.

С той поры Маргарет всё чаще ворчала именно на Зою, больше, чем на остальных. Стоило ей увидеть, что девушка почти не притронулась к еде, как следовало сухое замечание: «Опять нормально не поела». Если же Зоя оказывалась у раскрытого окна без пальто, Маргарет недовольно хмурилась: «И зачем ты без пальто у сквозняка стоишь?» А заметив в её глазах усталость, с раздражением добавляла: «Опять на ходу засыпаешь...»

Но в её ворчании не звучало ни капли упрёка — лишь забота, которую она просто не умела выражать иначе. И Зоя, вслушиваясь в её слова, вдруг с особой ясностью ощутила: Маргарет не только однажды спасла её жизнь — и сейчас, спустя годы, продолжала бережно оберегать её, как оберегают то, что стало частью собственной души. В обществе сестры Маргарет не требовалось говорить ничего лишнего: даже простое присутствие рядом с ней ощущалось как проявление чуткости и заботы, куда более выразительное, чем самые тёплые признания.

Зоя очнулась от своих мыслей, когда спрятанный за пазухой цветок уколол её кожу стеблем. Сделав шаг вперёд, она вынула розу — белую, ту самую, что утром приобрела в лав-

ке герра Шахта. За время дороги лепестки чуть примялись, однако цветок всё ещё выглядел свежим.

— Это вам, сестра — ласково произнесла Зоя.

Маргарет вытерла ладони о передник и осторожно приняла розу, будто перед ней была не обычная веточка, а редкая драгоценность, которую легко повредить неосторожным движением. Она долго рассматривала белые лепестки, не в силах сразу поверить, что такой скромный и почти невероятный знак внимания адресован именно ей. Старая служка, от которой всегда пахло хлоркой и мылом, в этот момент казалась растерянной и неловкой.

Она налила в треснувшую рюмку из-под шнапса воды из кувшина и поставила туда розу. Несмотря на повреждённое основание стекла, цветок удержался ровно, а один белый лепесток чуть заметно дрогнул от гулявшего по комнате сквозняка.

— Спасибо, Зоя, — сказала она, любуясь, как свет ложится на лепестки. — Наверное, отнесу её в часовню: там она сохранится лучше. Сейчас такие прекрасные розы попадают нечасто. И кто может сказать, удастся ли мне ещё когда-нибудь получить цветы в этой жизни.

Она перевела взгляд с розы на Зою, словно только что очнувшись от своих мыслей, и спокойно сказала уже обычным тоном:

— Да, Зоя, мне нужна твоя помощь. Иди на кухню, пора разливать суп, пока он не остыл.

Зоя направилась в столовую, и почти сразу в дверях показался Карл — смотритель приюта, высокий сухощавый старик с потускневшими глазами и привычным влажным пятном на воротнике. Он едва заметно кивнул ей и буркнул, что суп опять вышел чересчур жидким. После этого Карл не стал задерживаться и ушёл к себе, целиком погружённый в собственные мрачные размышления.

Зоя посмотрела ему вслед и вошла в столовую.

В помещении было сумрачно: свет почти не пробивался сквозь два окна, выходящие во внутренний двор, потому что стёкла давно покрылись грязной мутной плёнкой. Лишь узкая бледная дорожка на полу напоминала, что снаружи ещё день. У стен тянулись восемь длинных столов, рядом с каждым стояли простые грубые скамьи. На столах уже ожидали глиняные миски — их, должно быть, заранее разложила сестра Маргарет или кто-то из служек. И над всем этим висел застоявшийся человеческий запах, въевшийся в штукатурку и вещи так прочно, что Зое не удавалось привыкнуть к нему все эти годы.

В дальнем углу, у стены, сидел маленький человек, словно вырезанный из камня. Зоя сразу догадалась, кто это. Она подошла ближе, но затем остановилась, не решаясь перейти ту тонкую грань, которая отделяла её привычную реальность от мира, в котором теперь оказался этот крошечный человек.

Это была Гретта. Она выглядела совсем юной — ей было лишь одиннадцать, — однако во взгляде угадывалась глубо-

кая, не по годам взрослая печаль. Такое выражение нередко появляется у детей, которые слишком рано оказываются лицом к лицу со смертью.

И всё же её жизнь не всегда была такой. До того страшного дня, когда рухнул дом и отец прикрыл её собой, Гретта жила как обычный ребёнок: носилась по двору, озорно дразнила местных мальчишек, кланчила отца раскачивать её на качелях и, как многие дети, больше всего обожала мороженое.

Она и мысли допустить не могла, что спустя всего несколько часов её накроет взрывная волна, а отец исчезнет из её жизни навсегда. Дом, который в одно мгновение рассыпался в обломки и заволок всё густым облаком пыли, комиссия по чрезвычайным происшествиям позже оформила как обычный «несчастный случай». В бумагах всё выглядело сухо и обыденно: просчёты при кладке, нехватка цемента, халатность строителей — привычный перечень объяснений, которым нередко прикрывают подобные катастрофы. Так трагедия, стёршая их жилище с лица земли, свелась лишь к формальному отчёту, призванному не столько прояснить случившееся, сколько скрыть истинную причину.

Но горожане отлично осознавали: все отчёты комиссии были сплошной ложью.

Взрыв этого дома был не случайностью и не следствием чьей-то халатности — его уничтожили намеренно, с продуманной и беспощадной жестокостью. По слухам, заряд туда

подложили несколько человек в коричневых рубашках СА², действовавших при молчаливом согласии местных властей. Поговаривали и о том, что дом им мог указать кто-то из соседей. Это был не просто акт устрашения — это был расчёт, точный и безжалостный: уничтожить разом всех евреев в одном подъезде, не пощадив даже детей.

Гретта так и не смогла понять, что именно вызвало взрыв. В памяти у неё навсегда осталась только эта страшная секунда: оглушительный грохот, после которого ещё долго звенело в ушах, и отчаянный голос отца, который в самый последний миг успел прикрыть её собой.

Она почти три дня не шевелилась, придавленная его те-

² СА (Sturmabteilung, штурмовые отряды), которых называли коричневорубашечниками из-за цвета формы (по распространённой версии, её закупили по дешёвке со складов бывшей германской африканской колонии), — это военизированные формирования НСДАП. Созданные в 1921 году, изначально они предназначались для охраны партийных митингов, но быстро превратились в инструмент силового давления: штурмовики устраивали уличные стычки с политическими оппонентами, терроризировали население, в том числе евреев, и помогали нацистам влиять на выборы. В 1923 году после провала Пивного путча организацию запретили, однако она продолжила действовать под другими названиями, а в 1925 году была вновь легализована. При Эрнсте Рёме численность СА резко выросла, и после прихода Гитлера к власти в 1933 году отряды стали важным инструментом «нацификации» страны. Однако неуправляемое насилие и амбиции Рёма (он высказывался о «второй революции») вызвали опасения у Гитлера: 30 июня 1934 года в ходе Ночи длинных ножей руководство СА было уничтожено, после чего влияние организации резко пошло на спад, а ведущей силовой силой НСДАП стала СС. Хотя СА формально просуществовали до 1945 года, их политическая роль сошла на нет; в 1945 году союзники запретили организацию, а Нюрнбергский трибунал не признал её преступной (в отличие от СС).

лом. Вначале от него ещё исходило последнее тепло живого человека, но постепенно его вытеснял холод — медленный, беспощадный, будто пришедший из самой преисподней. Сначала Гретта чувствовала лишь привычный запах отца: одеколон, папиросный дым, знакомый до боли и навсегда впитавшийся в его пиджак. Однако с каждым часом этот запах слабел, уступая место сырой, гниlostной затхлости, похожей на дыхание могилы. Гретта не представляла, как выглядит смерть, но всё равно понимала: отец больше никогда не откроет глаз.

Вокруг стояла непроглядная тьма, а завал полностью отрезал любые шансы докричаться до людей. Она даже не звала на помощь, понимая, что это бесполезно. Оставалось лишь вслушиваться в возню рядом: крысы, учуяв запах разлагающегося тела, спешно шуршали, скребли лапками и пронзительно пищали, стремясь добраться до своей добычи.

Когда спасатели разобрали то, что осталось от дома, и вынесли её наружу, слёз у неё уже не было — словно они остались под обломками вместе с тем временем, которое навсегда разделило её детство на до и после. После этого изменилось и её речь: фразы начали путаться, застревать в горле, и у неё появилось заикание.

Но самым тревожным оказалось совсем иное. Сёстры довольно скоро стали замечать, что Гретта ведёт разговоры с невидимым собеседником и будто улавливает шёпот, доступный лишь ей одной. Иногда она даже отвечала этим го-

лосам вслух, и тогда другие дети, не зная, что вызывает больше страха — её молчание или эти странные беседы, — начинали сторониться её и держались на расстоянии. Сёстры объясняли это пережитой травмой: подобное, говорили они, может пройти со временем, а может остаться надолго. Однако дни проходили, а облегчение так и не наступало.

Почти все отделились от Гретты, и рядом с ней осталась лишь Зоя. Она не принимала эти голоса всерьёз, однако понимала: для самой Гретты они существовали так же явно, как сероватый свет, проникавший через стекло. Спорить с ней означало бы лишь сильнее задеть то, что и без того было уже изранено.

Зоя подошла к ней почти вплотную и негромко окликнула:

— Гретта... Суп совсем остынет.

Девочка никак не отреагировала на оклик и даже не повернулась. Казалось, всё её внимание было приковано к чему-то, что слышала только она сама. Когда Гретта всё же заговорила, в её словах уже не чувствовалось ни детского тепла, ни живой интонации — голос звучал глухо, безжизненно и почти одинаково на каждой фразе.

— Они не дают мне есть, — сказала Гретта. — Всё время говорят... говорят и говорят.

Зоя наклонилась ближе, стараясь поймать каждое слово.

— Кто, солнышко? Кто тебе мешает кушать?

Гретта обернулась и встретила взглядом с Зоей.

— С-с-солдаты, — выговорила она с трудом.

На лице девочки взгляд сразу приковывали светлые, почти бесцветные глаза: белёсая радужка и крошечные тёмные зрачки, которые удивительно ярко выделялись на её бледном, будто лишённом выражения лице. Зоя непроизвольно дёрнулась, заметив этот странный, почти призрачный взгляд.

— Их слишком много, и каждый твердит об одном: наше время ещё придёт. — сказала Гретта почти шёпотом.

— Я не понимаю тебя, солнышко, какое время? — растерянно уточнила Зоя.

Девочка ненадолго умолкла, словно опасалась сказать что-то неуместное, а затем едва слышно произнесла:

— Время... когда их с-с-снова позовут.

Она приблизилась вплотную, почти касаясь губами Зоиноу уха, и заговорила торопливо:

— Тётя Зоя, они так и не ушли. Я это чувствую: они где-то рядом. Как только дом стихает, я снова слышу их голоса. Иногда кажется, будто они шепчутся прямо в стенах, под досками пола, в трубах, когда по ним бежит вода. Они лежат в земле и только и ждут момента, чтобы вернуться назад.

Зоя ощутила неприятный озноб, пробежавший по затылку. Она ничего не сказала, лишь поставила перед девочкой тарелку с супом и аккуратно расправила на её коленях юбку.

— Давай поешь, крошка, — произнесла она негромко. — Пока суп совсем не остыл.

Гретта без возражений взяла ложку, зачерпнула суп и поднесла ко рту. Она ела удивительно спокойно, словно не ей только что пришлось переводить голоса с того света. Зоя на секунду задержала ладонь на её волосах, после чего продолжила обход дальше.

Глава 8. Давид. Мальчик, который видел всё

У окна в дальнем конце столовой разместился Давид. Он опустил руки на стол и устремил вперёд напряжённый, неотрывный взгляд; казалось, его глаза из-за сильного внутреннего усилия будто выступали из глазниц.

Создавалось впечатление, что в нём осталась лишь одна оболочка: тело было здесь, а душа, быть может, уже ушла туда, откуда не возвращаются, оставив после себя лишь бесконечную, тупую боль. Он не откликался ни на обращение, ни на яркий свет, ни на осторожное прикосновение. Под его рукой был зажат мишка Теодор — старый, выцветший, с оборванным ухом. Уже трудно было назвать его просто игрушкой: медвежонок словно сросся с ребёнком и стал частью его самого, почти как лишний палец или продолжение ладони. Стоило бы его отнять — и возникло бы ощущение, будто у мальчика забирают не игрушку, а часть руки.

Достаточно было лишь увидеть мальчика, чтобы у Зои каждый раз по коже пробежал нервный озноб.

Она хорошо помнила тот день, когда его привели. На дворе стоял декабрь сорок первого года. С неба падала то ли морось, то ли мокрый снег — серый, сырой, неприятный, липнущий к одежде и коже. Старуха с жёлтыми, почти больными

глазами вела мальчика за руку; глаза были настолько жёлтыми, что Зое на секунду показалось: неужели это уже последняя стадия желтухи?

Он не плакал, не вырывался, не оглядывался назад. Шёл покорно, точно был не живым ребёнком, а ветхой тряпичной куклой, которую несут куда вздумается чужие руки. Потом вдруг остановился и уставился прямо перед собой. В его взгляде не было ни страха, ни надежды — лишь такая глубокая усталость, какую и во взрослом человеке встретишь нечасто, а в девятилетнем ребёнке — и подавно.

— После всего, что ему пришлось вынести, я просто не могла оставить его там, — сказала старуха, остановившаяся с ним у дверей приюта, нервно теребя край платка.

Зоя хорошо помнила, как отвела Давида к сёстрам, а затем поспешила назад. У двери она снова заметила старуху: та по-прежнему стояла на месте, будто никак не решалась уйти. Наконец пожилая женщина заговорила — сбивчиво, скоро, скомкано, будто слова ей давались нелегко.

Родители Давида были евреями. Его отец работал доктором и считал своим долгом лечить каждого, кто нуждался в помощи, не делая исключений даже для немцев. Мать посвящала себя детям: она обучала их танцам и вместе с ними готовила праздничные выступления. Они не скрывались и не пытались покинуть дом, потому что надеялись, что их человечность убережёт их от беды. Но эта вера оказалась роковой ошибкой.

В ноябре 1941 года гестапо устроило шумное показательное заявление о якобы раскрытом «еврейском заговоре». По версии нацистских властей, речь шла о подпольной организации, которая будто бы готовила свержение правительства и покушение на Гитлера. Однако за этой пропагандистской постановкой скрывался заранее подготовленный обман: следствие было сфабриковано от начала до конца. Действуя по доносу информатора, полиция задерживала всех, чьи фамилии уже были внесены в списки «ненадёжных».

К этому делу родители Давида не были причастны. Их фамилия попала в список по ошибке — из-за неаккуратности и безразличия, которые в итоге привели к гибели всей семьи.

И вот — этот список уже оказался у кого-то в руках. А в дверь неустанно продолжают стучать.

Давид проснулся от оглушительного удара, разнёсшегося по всему дому, будто что-то чудовищное пыталось ворваться внутрь. За стенами квартиры уже звучали незнакомые голоса, а в дверь продолжали колотить грубо и с явным нетерпением. Не теряя времени, мать затолкала его в шкаф и плотно закрыла дверцу.

— Сиди тихо, любовь моя, — шепнула она, быстро поцеловав его в лоб. — Что бы ни произошло, не покидай шкаф. Ты меня понял? Не выходи.

И, наклонившись к нему ещё ближе, она едва слышно добавила:

— Если станет совсем страшно, обними Теодора, он тебя

защитит.

В руки мальчику она аккуратно вложила плюшевого медвежонка, а его пальцы тут же обхватили мягкую, слегка поношенную игрушку.

Внутри шкафа висел терпкий запах старого кожаного пальто отца. Давид уткнулся в него лицом, словно в последнюю хрупкую защиту от беды, которая уже стояла совсем близко.

Он сидел и трясся всем телом, упёршись спиной в деревянную стенку шкафа, и с растущим ужасом чувствовал, как штаны под ним становятся влажными. Теодор, прижатый к его груди, тоже дрожал — будто разделял с ним этот безмолвный, животный страх.

Сквозь узкую щель в дверце шкафа ему открывалась вся картина. Сначала в дом ворвались с такой силой, что дверь выбило сразу. Затем мать схватили за волосы и резко оттащили в сторону. Отец к тому времени почти не сопротивлялся, но его всё равно продолжали бить прикладами, пока он едва держался на ногах. После этого один из солдат поднял голову, посмотрел на люстру и без слов подал знак.

На шею отцу, который ещё оставался жив, накинули верёвку. Двое гестаповцев схватились за концы и резко подняли их вверх, отчего его тело оторвалось от земли. Он начал задыхаться, пытаясь руками ослабить петлю на горле, но те, кто держал верёвку, только усилили натяжение. После минутного сопротивления всё было кончено. Тело отца

несколько раз резко дёрнулось в предсмертных конвульсиях, потом сделало ещё одно слабое движение и вскоре обмякло, раскачиваясь в воздухе из стороны в сторону. С ног одна за другой слетели тапочки: сначала с одной, потом с другой.

Мать только вскрикнула — один раз, резко и приглушённо. Ей тут же нанесли удар коленом в живот, грубо вставили кляп, после чего чья-то жёсткая, безжалостная рука вцепилась в волосы, дёрнула вниз и потащила её прочь из комнаты.

Затем всё резко прекратилось. Дверь с оглушительным ударом захлопнулась, за окном взревел мотор, и весь дом погрузился в гнетущую, зловещую тишину.

На рассвете Давид так и не покинул шкаф и всё это время держал медвежонка у себя на груди, будто в этой игрушке ещё сохранялся слабый оберег от ночного кошмара.

За стеной соседка не закрывала глаза до самого утра: она вслушивалась в каждый стук, в каждый шорох, в глухие звуки, доносившиеся из соседней квартиры. Когда там наконец всё умолкло, она ещё долго не решалась пошевелиться, словно ужас превратил её в каменную статую. Лишь ближе к полудню она поднялась, накинула халат, вышла на лестничную площадку и осторожно приоткрыла дверь напротив. Та оказалась незапертой.

В квартире стоял тошнотворный, удушливый смрад — такой поднимается у задней стены скотобойни, где к исходу долгого дня сваливают отбросы и оставляют их гнить до утра.

В центре комнаты под люстрой висел отец, его тело чуть раскачивалось из стороны в сторону. Лицо сильно потемнело и стало почти неузнаваемым, а один глаз выпучился наружу из-за тугой петли на шее. Одна тапочка слетела с ноги и осталась под ним, а вторая откинулась в сторону, задрав носок вверх. По полу валялись осколки посуды, опрокинутые стулья, часть ящиков комода была выдвинута, а остальные перевёрнуты.

Старуха прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть от ужаса. Затем она шагнула в детскую, стараясь не наступить на тёмное пятно, растекавшееся по полу.

В комнате, куда она вошла, царила зловещая тишина.

У стены стоял шкаф с чуть приоткрытой дверцей, из которой виднелась только узкая полоска. Старуха осторожно отворила её и заглянула внутрь. На ворохе смятой одежды, сжавшись в маленький комочек, сидел Давид. Он не шевелился и смотрел в одну точку, словно часть его самого навсегда осталась там, за дверью, рядом с отцом и матерью. Двигались только пальцы: они снова и снова теребили ухо плюшевого мишки, будто старались распутать узел, который уже нельзя развязать.

С тех пор прошло время, и теперь он всё так же сидел в приюте почти без движения: упрямо уставившись в одну точку, он бесконечно перебирал пальцами ухо плюшевого мишки.

Зоя приблизилась и устроилась рядом, не нарушая тиши-

ны. Давид не повернул головы. Только пальцы, которыми он тербил плюшевое ухо мишки, едва дрогнули, выдавая напряжение, которое он пытался скрыть.

— Давид... — ласково и почти шёпотом позвала она.

Но он не ответил.

Зоя не попыталась снова заговорить с мальчиком и не тревожила больше его ранимую душу. Она просто осталась рядом — молча, как молчат возле чужой, ещё не утихшей боли. За окном гулял ветер, и сухая ветка клёна царапала стекло, нарушая безмолвие комнаты.

Каждый вечер Давид подходил к окну и подолгу смотрел на дорогу — туда, где за линией горизонта осталась его прежняя жизнь. Он прижимал лоб к холодному стеклу и надолго замирал, не двигаясь, словно и его мысли, и он сам уже давно перестали принадлежать этому миру. Стекло мутнело от его тёплого дыхания, и в этом призрачном, размытом пятне на краткий миг ему мерещился дом. Но образ быстро исчезал, и перед глазами вновь возникала только бесконечная дорога, терявшаяся в тусклой дали.

Глава 9. Человек сломался

Зоя задержалась у окна рядом с Давидом, не нарушая молчания и не прикасаясь к нему; одного этого хватало, чтобы он понял: он здесь не один. Потом она отошла, позволив ему одному смотреть в сторону дороги.

В центре столовой сидел человек, хмуро уткнувшись в свою миску и совсем не поднимал головы.

Курт Шнайдер недавно отметил шестьдесят восьмой день рождения, но из-за пережитого он казался намного старше своих лет — почти древним стариком, которому давно перевалило за девяносто. Его лицо, прозрачное и исхудавшее, напоминало старинный пергамент, на котором проступали голубоватые жилки, а взгляд казался лишённым цвета, будто у человека, полностью утратившего зрение.

Жизнь обошлась с ним крайне жестоко: сначала он потерял жену, которую в тридцать шестом забрала болезнь, — всего за три месяца рак сожрал её окончательно, не оставив ни единого шанса на выздоровление. Затем пришли вести с фронта: оба сына не вернулись с передовой, ещё в ту войну. Один исчез под Верденом и так и остался в списках пропавших, другой нашёл пристанище в земле Соммы. А дочь, уехавшая ещё в двадцать пятом в Южную Америку, — с тех пор от неё так и не дошло ни одного письма или известия.

Теперь он жил в приюте, среди людей, чьи судьбы тоже

оказались искалечены и растоптаны. В приюте не ставили диагнозов. Про таких, как он, здесь говорили коротко и без лишних слов: «человек сломался». И каждому было понятно, что за этими словами стоит искалеченная душа, которую уже нельзя починить и вернуть к прежней жизни.

Курт принимал пищу медленно, с той степенной сосредоточенностью, которая иногда появляется у пожилых людей, когда они совершают давние, много раз обдуманые ритуалы. Каждое движение ложки он словно тщательно вымерял, наделяя его почти священным смыслом. Но пальцы давно уже подводили его: артрит, ставший напоминанием о сырости окопов и прожитых годах, уродовал кисти и каждый раз вызывал дрожь, стоило ему взять ложку. Суп то и дело расплёскивался по столу, но старик не обращал на это внимания — ни на капли, ни на слабую тряску собственной руки.

Когда Зоя поравнялась с ним, старик резко поднял руку и цепко ухватил её за запястье — не причиняя боли, но держась так, будто вцепился в единственную опору. От его одежды и его тела шёл резкий, кислый запах старости, голода и бессилия. Стоило ему приоткрыть беззубый рот, как Зою сразу обдало этой горькой, удушающей вонью.

— Фройляйн... — глухо прошамкал он. — Чувствуете?.. В воздухе уже веет войной: сырой шинелью и запахом обугленной плоти.

Зоя попыталась выдернуть руку, но старик держал её так крепко, словно цербер, не желая отпускать ни на секунду.

На её молчание он тоже не отреагировал, лишь с упорством вцепился ещё сильнее.

— Командир скомандовал: «В атаку!» — и Курт вдруг выпрямился, точно снова ощутил в ладони не деревянную ложку, а холодный штык. Но это напряжение длилось всего мгновение: плечи его сразу осели, а голос, ещё секунду назад звеневший сталью, стал глухим и виноватым. — А сапоги... сапоги я, фройляйн, утопил в грязи, — сказал он. — Там, где уже не разобрать, кто свой, а кто чужой. — Он ненадолго умолк, будто вслушиваясь в гул, который не стихал где-то вдали. — Война уже совсем рядом. Вы её не замечаете, а я слышу. Я был там... и, кажется, так и не вернулся оттуда.

— Тише, герр Курт, тише, — негромко сказала Зоя, словно боялась нарушить его хрупкое состояние. — Война осталась в прошлом. Теперь вы здесь, рядом с нами. Позвольте, я лучше подолью вам ещё супа — горячего.

— Суп? Пожалуй, — ответил Курт после короткой паузы. — Суп — это хорошо...

Он едва заметно кивнул, и в его голосе, ещё дрожавшем после пережитого страха, прозвучало почти детское доверие:

— А война — это плохо. Очень плохо. Плохо, плохо, плохо...

Он трижды повторил эти слова, будто читая старинное заклинание, и, покачиваясь в такт каждому слогу, в конце концов приблизился к миске, выпустив руку Зои.

Зоя бережно поправила съехавшую набок вязаную шапоч-

ку на его голове, вытерла платком каплю супа с подбородка и, не проронив больше ни слова, чуть отступила и продолжила свой путь, обходя постояльцев приюта.

Глава 10. Младенец, у которого нет имени

После разговора с Куртом Зоя заглянула в комнату для малышей и услышала оттуда почти неразличимый плач. Он был тихим и жалобным — таким, каким нередко плачут младенцы, когда уже не надеются, что их возьмут на руки, обнимут и согреют лаской. Постепенно этот звук становился всё тише, словно ребёнок понял: в приюте, кроме Зои, заботиться о нём некому, а она всё не появлялась, и поэтому плакать было бессмысленно.

Два месяца назад этого ребёнка оставили у самых ворот приюта. Под покровом ночи его подбросили в картонной коробке, прежде служившей упаковкой для старой мебели; на её боку ещё виднелся выцветший знак магазина, давно прекратившего существование. Ребёнка уложили в клетчатую шаль, аккуратно закутали и прикололи к ткани записку на сером листке. От шали тянуло запахами чужого дома — дымом из печи, воском и дешёвыми женскими духами. Надпись была сделана неровно, с ошибками и пропусками, будто её выводили в спешке, дрожащей рукой, полной отчаяния: «Спасите, не могу пракармить».

Каждая буква врезалась в бумагу так глубоко, будто записку писали в панике, торопясь изо всех сил и опасаясь, что

в любую секунду откроется дверь и её застанут врасплох за этим занятием.

Судя по всему, записку оставила мать. Она долго пряталась в тени у входа в приют и ждала, пока на улице потухнет свет фонарей. Лишь после этого она бесшумно исчезла в ночи, оставив свёрток на обмёрзшем пороге.

О младенце больше никто ничего не знал. Имени ему не дали вовсе — не из жестокости и не из бесчувствия, а потому, что дарование имени означало бы признание: ребёнок останется здесь надолго, а может, и навсегда. Сёстры в таких случаях не любили строить планы наперёд. Слишком часто жизнь складывалась иначе: спустя несколько дней появлялась раскаявшаяся нерадивая мать, забирала ребёнка и уходила так же бесшумно, как некогда возникла у дверей приюта.

А вычёркивать записи из регистра без серьёзной необходимости здесь считалось недопустимой расточительностью: любой штрих тратил драгоценные чернила, а их запас и так был почти на исходе.

Зоя тоже не осмелилась назвать его и вписать имя в ведомость. Тот же суеверный страх, что заставлял её сестёр оставлять графу пустой, сковал и её руку. Слишком часто жизнь уже предавала их надежды. Слишком многих ей пришлось оплакать.

Она прижала младенца к груди и едва заметно начала его укачивать. Он не умолк сразу: сперва ещё всхлипнул,

затем долго, неровно, словно во сне после мучительного и бесконечного плача, ловил дыхание. И вдруг — неожиданно для неё самой — на его лице появилась улыбка. Беззубая, почти случайная, будто смысл её был ему ещё неведом, но в этой бесхитростной, беспомощной улыбке уже звучало нечто несомненное, подлинное — чистое, неколебимое счастье.

Зоя не решалась пошевелиться, опасаясь одним дыханием разрушить это хрупкое чудо, внезапно открывшееся перед ней.

На короткое время всё, что мучило её весь день, ушло на второй план: арест Штайнера, мрачные голоса, которые слышала Грета, бездонный взгляд Давида, бессвязное дрожащее бормотание старого Курта. Это перестало казаться таким значимым, будто отступило куда-то далеко и почти потеряло очертания. И среди боли, тревоги и страха, заполнявших мир вокруг, остался лишь этот крохотный свет — упрямый, неуместный, но живой и тёплый.

Затем, убедившись, что пелёнки у младенца остались сухими, она аккуратно уложила его в кроватку и, наклонившись, стала тихо покачивать, убаюкивая малыша.

Именно в этот момент её поразило осознание: под этой крышей сейчас собрались двенадцать человек. Среди них были дети, старики, сёстры, санитары и она сама. День за днём на неё устремлялись двадцать пар глаз — тревожных, выжидающих, полных надежды. И всем им было нужно толь-

ко одно: чтобы она как можно скорее вернулась и снова подарила им своё внимание, заботу и простое человеческое тепло, которого здесь так часто недостаёт.

Глава 11. Облава

В приюте давно уже погасили свет, и лишь на кухне тускло дрожало пламя керосиновой лампы. Зоя задержалась сегодня дольше обычного: с той минуты, как фрау Бехер принесла страшную весть об аресте Штайнера, день словно надломился и рассыпался на множество мелких, неотложных дел, каждое из которых требовало немедленного завершения. Она стояла у раковины и домывала последние миски. Из крана текла тонкая струйка прохладной воды, и руки у Зои совсем онемели: пальцы покраснели, ощущались слабо, а движения стали неуклюжими.

За окном была тревожная тишина — она словно предупреждала о надвигающейся катастрофе. Даже кёльнские псы, казалось, в ту ночь вели себя необычно тихо, словно и они ощущали разлитый в воздухе страх.

Зоя как раз домывала последнюю тарелку, когда издалека донёсся странный шум. Сначала он был слабым и расплывчатым, будто где-то на отшибе гудел гигантский пчелиный улей. Но почти сразу гул стал нарастать и подбираться всё ближе и ближе, и Зоя сразу же поняла: это работает двигатель автомобиля. Не трамвай и не телега, а низкий, хриплый рёв мотора грузовика. Машина приближалась медленно, но неумолимо, и с каждым мгновением звук всё сильнее давил на слух.

Зоя потушила лампу и неспешно подошла к окну.

Она заметила, как во дворе напротив входа остановился грузовик. Его фары уже не горели, но двигатель продолжал изнурительно и надсадно урчать.

На этой машине, как на борту, так и на дверце, бросались в глаза нацистские символы: вдоль корпуса тянулась свастика, словно её выжгли горячим металлом, а на дверце отчётливо проступали руны СС. Зоя смотрела на эти символы власти и никак не могла оторвать от них глаз.

В ту же секунду, как по невидимому сигналу, из кузова один за другим стали спрыгивать солдаты. Их строгая чёрная форма, начищенные до блеска сапоги и туго затянутые ремни создавали образ почти показной, идеально выверенной военной выправки. Двигались они неторопливо, размеренно и вальяжно.

Они поправляли каски и одёргивали мундиры, и в каждом их движении читалась спокойная уверенность людей, привыкших вести себя как хозяева даже там, где им не было и не могло быть места.

Они спустились на землю, и один из солдат неторопливо извлёк сигарету из пачки, почти сразу же прикурив её. Он глубоко втянул дым и выпустил его вверх, в тёмное небо. Второй, обернувшись через плечо, отпустил едкую шутку, после чего негромко и сухо рассмеялся. Его насмешку подхватили остальные, и раздался грубый, гулкий смех — самоуверенный, довольный, неприятный. Зоя не уловила смыс-

ла сказанного, но в этом и не было необходимости. Одной только интонации хватало, чтобы понять куда больше любых слов. По их манере двигаться, по смеху и по развязному поведению было очевидно: сюда они явились не случайно, а с намерением творить зло.

Стараясь не издать ни единого звука и не выдать своего присутствия, она мысленно вела счёт солдатам, которые по одному прыгали из кузова: один, два, три... В детстве ей казалось, что, если на слове «три» крепко сомкнуть веки, любое ночное чудовище — вымышленное или настоящее — тут же исчезнет, будто его и не было. Но теперь, в эту сырую лунную ночь, привычный детский приём не сработал. Никто не пропадал. Напротив — всё новые и новые фигуры вываливались из кузова, будто сам грузовик рождал их из своей утробы, и, тяжело переставляя ноги, выстраивались в ровные, одинаковые шеренги. В итоге их набралось девять человек, если не считать водителя и того, кто сидел рядом с ним.

Затем из кабины показался офицер в белых перчатках, держа под мышкой кожаную папку. Не задерживаясь, он окинул строй внимательным, пронизывающим взглядом и резко, повелительно скомандовал:

— Все по местам. Быстро.

Его речь звучала так уверенно, будто он давно привык отдавать распоряжения и не слышать возражений. В лунном свете на миг сверкнуло пенсне. И Зое показалось, что перед ней стоит самый обычный сельский учитель: та же важная

манера поправлять очки, то же округлое, тяжеловесное брюхо, та же уверенная, чуть снисходительная осанка человека, привыкшего с высоты кафедры притягивать внимание учеников.

Но стоило ему заговорить громче, как вся мнимая картина тут же растворилась. Его голос оказался не таким, каким она представлялся: тонким, хрипловатым, с заметной гнусавой окраской. И именно эта неприятная, царапающая слух манера повышать голос вызвала у Зои мгновенный рвотный рефлекс.

Он говорил отрывисто и жёстко, бросая распоряжения одно за другим, не оставляя места для возражений:

— Вы трое — срочно в кабинет смотрителя, перепроверьте весь список. Вы двое — за мной, в основное здание. Остальные — в оцепление. Никого не выпускать. Если кто-то попытается сбежать, стрелять без предупреждения. И смотрите мне: чтобы ни одна вша не проскользнула. Ясно?

— Так точно, гауптштурмфюрер! — ответили они в унисон с такой силой, что на кухне испуганно дрогнула и звякнула посуда.

Зоя так и не сумела потом восстановить в памяти, как именно пронеслась по коридору и толкнула дверь в общую спальню. Зато то, что она почувствовала в тот миг, осталось с ней навсегда. В нос ударило густое, удушающее зловоние — смесь пота, мочи и нестираной одежды, которой были пропитаны люди, тесно сгрудившиеся в комнате.

Ночной шум и крики вывалили из сна и детей, и стариков; паника охватила их так стремительно, что они почти перестали себя контролировать. От ужаса тела реагировали сами — у одних началось недержание, других стошнило недавно съеденной, ещё не успевшей перевариться едой. В душном и спёртом воздухе этот давящий смрад лишь усиливался и в ту ночь навсегда отпечатался в памяти Зои, став воспоминанием, которое уже невозможно было вытравить до конца её дней.

Через несколько минут снаружи раздался гулкий, резкий удар. Почти сразу по коридору послышались уверенные, чужие шаги, а затем в дверь три раза с силой ударили прикладом. После этого из-за порога донёсся надорванный хриплый голос:

— Открывайте! Немедленно!

Но, по существу, тем, кто находился по ту сторону двери, не было необходимости ни отвечать, ни получать приглашение, чтобы войти.

От первого же удара сапогом дверь вылетела из проёма, сорвавшись с петель. В тесное помещение мгновенно ворвались люди, и всё внутри пришло в неистовый хаос: тела с силой бросало о стены, о дверные косяки, о холодные железные койки. Кто-то вскрикнул от ужаса, кто-то, дрожа, торопливо крестился и беззвучно шептал молитву, а кто-то застыл с открытым ртом, напрочь позабыв даже как дышать.

В детской внезапно вспыхнул тускло-жёлтый свет, и

детям он показался почти нестерпимым. Они крепко зажмурились, принялись тереть глазки, часто-часто моргать, а уже через секунду, толком не понимая, что произошло, один за другим расплакались, хватаясь за юбки сестёр и прячась за ними.

Тем временем старики начали слезать с коек и медленно вставать жилистыми ногами на пол, что-то невнятно бормоча, но их слова тонули в общем шуме и уже никому не были слышны. Всё заглушали солдатские голоса, перекрикивающие друг друга:

— Быстрее, шевелитесь!

— Живей, живей!

— Поднимайтесь!

— На выход, всем на выход!

В проёме двери появился молодой солдат; его лицо искажали злость и раздражение. Он резко ткнул пальцем сперва в Зою, а потом в Карла, который уже выбрался на порог своей комнаты и торопливо натягивал штаны на худые ноги.

— Вы двое! — рявкнул он. — Скажите им быстро одеваться и прекратить этот вой.

Зоя шагнула вперёд, с трудом удерживая голос от дрожи.

— Куда вы их увозите? — спросила она.

Солдат криво усмехнулся, и в его выражении чувствовалась не радость, а откровенная жёсткость.

— Не твоё собачье дело, — бросил он. — В бумагах всё сказано: на медосмотр везём.

Потом он наклонился к Зое так близко, что её обдало резким запахом табака, перегара и дешёвого одеколona.

— И запомни, жидовка, — резко сказал он, ткнув пальцем в звезду у неё на груди. — Если ещё раз полезешь туда, куда не следует, окажешься в концлагере. Знаешь, что там делают с такими, как ты?

Большим пальцем он плавно провёл у горла — намекая на движение ножа. После этого он коротко усмехнулся, будто только что произнёс удачную шутку, и, резко развернувшись, присоединился к остальным эсэсовцам, продолжавшим чинить бесчинство.

За последние несколько лет Зоя неоднократно слышала от своего отца это слово — «концлагерь». Он решался произносить его только на кухне: перед этим непременно закрывал дверь и говорил почти вполголоса. После этого он надолго уходил в свои мысли, опуская взгляд в чашку с остывшим чаем, и всматривался в её тусклую жижу.

— Зоя, — Карл вывел её из этого мучительного потока рассуждений и, приблизившись почти вплотную, произнёс вполголоса, но с такой уверенной твёрдостью, что возражать было бессмысленно: — Делай в точности так, как они велят. Если мы сейчас станем сопротивляться, этим лишь усугубим ситуацию и для себя, и для остальных.

Карл продолжал что-то говорить, однако его слова тонули в хаосе происходящего и почти не доходили до её сознания. Зоя не сводила глаз с того, как солдаты, действуя быстро и

без лишних вопросов, выстраивали детей и стариков в сбившуюся, подрагивающую шеренгу.

— Куда их отправляют? — спросила наконец Зоя, повернувшись к Карлу и не отрывая взгляда от колонны стариков и детей, которую уже вели к выходу.

Карл не сразу нашёлся с ответом. По его сдержанному выражению лица она и без слов поняла, что он тоже не владеет никакой информацией. Спустя несколько мгновений он сглотнул, слегка наклонился к ней и заговорил, стараясь держаться уверенно:

— Я не знаю, Зоя. — Его голос дрогнул, в нём проступила растерянность. — Говорят, это какой-то плановый осмотр, о котором нас не удосужились предупредить. Такое, увы, случается... Возможно, кто-то мог напортачить с бумагами. Завтра я постараюсь во всём разобраться. Ты только не переживай, хорошо?

Зоя коротко согласилась с Карлом, едва заметно кивнув ему, после чего обернулась к детям. В её интонации по-прежнему чувствовалась ровность, хотя в душе всё будто рассыпалось; она сама удивлялась той странной, почти неестественной собранности, которая вдруг в ней появилась.

— Не пугайтесь, мои хорошие, — произнесла она нежно, с осторожной, ласковой мягкостью, за которой всё же угадывалась боль. — Эти люди не сделают вам ничего плохого. Вы просто немного проедете вместе с ними, покатаетесь на их машинах. Ну же, вам ведь наверняка интересно взглянуть,

какие у них большие автомобили?

Дети мгновенно притихли: кто-то робко шмыгнул носом, а кто-то поднял взгляд на Зою и с осторожностью уточнил:

— Правда, тётя Зоя?.. Значит, мы правда просто отправимся кататься?

— Конечно, правда, — произнесла она и тут же отвела взгляд, будто боялась, что дети догадаются о том, о чём им не следовало знать.

И они поверили — ведь они были ещё слишком юны, чтобы не верить. Да и раньше Зоя ни разу не заставляла их сомневаться в том, что говорила.

Их повели во двор, где в темноте уже работал грузовик, издавая низкий гул. Лучи фар разрезали мрак и выхватывали мокрый гравий, дрожащие отблески в лужах и бледные, истощённые лица людей.

Зоя успела заметить, как Давид, прижимая под мышкой медвежонка Теодора, по своей обычной неуклюжести взбирается в кузов — снова самым последним. Солдатам пришлось подгонять детей и стариков, окликая их и спешно помогая им: они брали их под локти и за плечи, чтобы те быстрее поднялись наверх. Вскоре железная дверца с глухим лязгом захлопнулась, окончательно отрезав им путь к отступлению обратно в приют.

На мгновение ей показалось, что всё обойдётся. Эта короткая пауза, почти незаметная, ещё держала внутри слабый луч надежды.

Глава 12. Мишка Теодор

Неожиданно один из солдат подошёл к краю грузовика, наклонился над листом в своей руке, нахмурил брови и почти сразу же рывком вытащил Давида из кузова, ухватив его за воротник, будто нашкодившего котёнка. Мальчик качнулся, чуть не упав, однако всё же устоял. После этого солдат грубо толкнул его в сторону офицера.

— Герр гауптштурмфюрер, — перекрывая шум двигателя, обратился солдат, вытянувшийся по струнке и удерживавший мальчика за плечо, — его тоже включить в отправку вместе с остальными? По бумагам он числится как еврей.

Офицер слегка вскинул брови, аккуратно поправил пенсне и затем ещё долго изучал Давида тем же внимательным, почти назидательным взглядом, каким преподаватель смотрит на ученика, готовясь вызвать его к доске.

— Вот как? — наконец произнёс он.

В этих двух словах чувствовались и сдержанное изумление, и вялый, почти безразличный интерес.

Давид не заплакал и не сказал ни единого слова. Он лишь достал из-под мышки Теодора и крепко прижал к себе обеими ладонями. На офицера мальчик смотрел ровно, без страха и без заметных чувств. В его глазах читалась взрослая опустошённость — след той ночи, когда он, окружённый мраком и ужасом, провёл бесконечные часы в шкафу, боясь по-

шевелиться.

— Герр гауптштурмфюрер, так что прикажете делать с ним в итоге? Его тоже... отправляем вместе со всеми, или как? — едва слышно повторил солдат, не решаясь поднять взгляд на офицера.

Офицер повернулся к солдату, и в его глазах не мелькнуло ни гнева, ни привычного раздражения. Вместо этого в них проступали усталость, накопленная за долгие годы, и растерянность — будто перед ним стоял человек, которому никак не удавалось постичь что-то на удивление простое.

— Ты совсем, что ли, из ума выжил? — бросил он, выдыхая каждое слово так, что от этого становилось только жутче. — И как, по-твоему, потом отмывать машину от его мерзкого запаха?

Солдат мгновенно вытянулся по стойке смирно и нервно сглотнул; острый кадык дёрнулся на тонкой шее. Офицер, однако, не повысил голос. Он по-прежнему смотрел на подчинённого с тем же презрительным раздражением, с каким только что оценивающе разглядывал Давида, и не спеша, чётко выговаривая каждое слово, продолжил:

— Вот скажи мне, зачем тебе дана голова? Только ли для того, чтобы на ней каску таскать, или всё-таки и для того, чтобы время от времени думать? — Офицер чуть наклонил голову; в этом жесте презрения было куда больше, чем в его словах.

— Ты хоть представляешь, чем пахнут евреи? — продол-

жил он спустя короткое молчание.

— Никак нет, герр гауптштурмфюрер, — произнёс солдат, всё так же не решаясь встретиться взглядом с офицером и лишь сильнее выпрямившись.

На лице офицера промелькнула улыбка, внешне почти доброжелательная и спокойная, однако в ней ощущалось нечто отталкивающее и особенно неприятное. Из-за этого последовавшие за ней слова показались ещё более резкими, жестокими и омерзительными.

— От них всех несёт одним и тем же, — произнёс он. — Алчностью. Жаждой обобрать тебя до нитки, оставить ни с чем. Сначала ты отдашь им последнюю рубаху, а потом они протянут руки и к самой душе. И не сомневайся: если человека довести до крайней нужды, он и душу отдаст без колебаний — лишь бы получить жалкие пару пфеннигов.

Пенсне на его переносице едва заметно дрогнуло, и лицо на мгновение приобрело почти комичный вид. После этого он разразился смехом — непринуждённым, почти детским, будто только что сказал что-то действительно остроумное, и даже хлопнул себя по животу. Солдат же по-прежнему стоял навытяжку, не решаясь ни на малейшее движение.

— И что же тогда прикажете делать с ним, герр гаупт... — неуверенно начал солдат, однако договорить не успел.

В глухой ночи внезапно прозвучал одинокий выстрел — резкий, короткий и едва различимый, настолько, что его легко было бы спутать с хрустом надломившейся ветки.

Давид не успел ни вскрикнуть, ни даже осознать произошедшее — смерть настигла его раньше, чем разум сумел среагировать. Пуля прошла через левую глазницу и вышла у основания черепа, оставив на коже крошечное тёмное отверстие. Кровь быстро насквозь пропитала ворот пижамы, запятнала плюшевого мишку и пролилась на гравий; в темноте её оттенок казался почти чёрным.

Его тело обмякло сразу, словно из него вынули все кости, и повалилось навзничь. Единственный уцелевший глаз остался широко раскрытым и был обращён к небу с немым, детским удивлением — словно этот бедный мальчик всё ещё надеялся на ночную поездку по Кёльну в большой машине, а оказался теперь неподвижно лежащим в грязи и пыли.

В самый последний момент у мальчика пальцы сами, почти в агонии, сомкнулись на игрушке — это было уже не осознанное движение, а отчаянный отклик угасающего тела. Затем хватка постепенно ослабла, и кисть раскрылась.

Плюшевый медвежонок Теодор выскользнул из его рук, несколько раз перекувырнулся и оказался на земле, припорошённой пылью. Через секунду его единственное ушко слабо шевельнулось и затем окончательно застыло.

Только после этого офицер спокойно и с демонстративной, почти аристократической изящностью убрал оружие в кобуру. Затем, будто всё происходящее не имело никакого значения, он стряхнул с белой перчатки невидимую пылинку и, не повышая голоса, холодно, ровно произнёс:

— Одним меньше.

Над грузовиком внезапно поднялся детский крик — тонкий, режущий слух, почти невыносимый. За этим сразу солдаты без единого слова начали жёстко оттеснять детей от бортов, прикладами загоняя их обратно в кузов. Вокруг разносились рыдания, отчаянные крики, короткие команды и тяжёлый рёв мотора, от которого, казалось, вздрагивали дома по всей округе.

И внезапно раздался крик Зои.

Из глубины её тела вырвался жуткий, почти звериный крик, не похожий на человеческий голос; он словно обошёл разум, страх и последние крупницы самообладания. Не разбирая дороги, она метнулась вперёд — к офицеру, который в белых перчатках стоял с неподвижным, словно неживым лицом. В этот момент ею управляло только одно: яростное, отчаянное желание добраться до него, схватить за горло, душить, терзать, не позволить ему продолжать своё безумное злодеяние.

Однако ей удалось сделать лишь несколько шагов.

Неожиданно чья-то рука — сухая, жёсткая, костлявая и вместе с тем удивительно сильная — вцепилась в запястье Зои и дёрнула её назад с такой силой, что она сразу опустилась на колени. Гравий впился в кожу через тонкую ткань платья, причиняя резкую, почти острую боль, и именно это ощущение, живое и настоящее, на короткое время вернуло её к реальности.

— Зоя, умоляю, не делай этого, — произнёс Карл. Несмотря на возраст и хрипоту, его голос прозвучал уверенно и твёрдо. — Ты уже ничего не изменишь. А им только на руку будет, если ты сегодня тоже погибнешь.

Её глаза, полные слёз и тихой боли, неторопливо встретились с его взглядом.

— Но разве можно просто стоять и наблюдать, как убивают наших детей? — едва слышно выдохнула Зоя.

Карл присел возле неё и бережно коснулся ладонью её затылка. Его пальцы, изуродованные тяжёлой работой и с распухшими суставами, неожиданно показались очень мягкими, почти ласковыми.

— Зоя, мы должны выжить, — произнёс он с теплотой в голосе. — Для того чтобы, когда весь этот кошмар наконец закончится, а закончится он непременно, кто-то должен будет открыть людям правду о том, что здесь произошло, чтобы весь мир узнал об этом.

Она взглянула на него со слезами в глазах, на мгновение встретилась с его взглядом, а потом снова опустила голову.

Грузовик тем временем успел отъехать далеко вперёд. Его красные габаритные огни постепенно растворялись в темноте, мерцали в запылённом воздухе, затем стали почти незаметными точками и скрылись за поворотом дороги.

Во дворе приюта ещё кружилась пыль, поднятая колёсами грузовика. Она оседала на плечи, волосы и неподвижные руки тех, кто провожал машину взглядом. Между тем в утоп-

танной дорожной колее бездыханно лежало тело Давида, а рядом с ним — мишка Теодор. Зоя не отрывала от них глаз и отчаянно уговаривала себя, что всё происходящее — всего лишь ночной кошмар, после которого она вот-вот очнётся.

Мишка завалился набок и, словно человек, обеими лапами неловко, с жалкой и нелепой лаской прижал к себе оторванное ухо.

Зоя так и осталась на коленях: подняться она не могла, сдвинуться с места тоже. Гравий впивался в кожу, но боль будто отступила, растворившись в оцепенении. Чувства покинули её, и внутри не осталось ничего.

Карл поднял мишку с земли, аккуратно очистил его от пыли и, не задерживаясь, протянул Зое.

— Возьми, Зоя, — произнёс он. — Теперь он принадлежит тебе.

Зоя взяла игрушку не сразу — пальцы её словно боялись коснуться потрёпанного плюша, как будто одно неосторожное движение могло причинить ему ещё большую боль.

— Этот бедный мальчик перенёс столько боли и испытаний, а я... я так и не смогла защитить его, — с горечью произнесла она, не поднимая глаз.

Карл покачал головой, и в этом жесте не читалось ни осуждения, ни упрёка. Лишь глубокая усталость человека, которому слишком хорошо известно, как жестоко судьба умеет обходиться с теми, кто особенно дорог сердцу.

— Возьми его, — произнёс он уже ровным, мягким голо-

сом, без прежней резкости. — Пусть эта вещь каждый день напоминает тебе о том, ради чего стоит продолжать жить дальше.

Зоя крепко обняла мишку, прижимая его к себе. Плюш был тёплым, и ей показалось, что он всё ещё хранит тепло рук Давида — вместе с липким, подсохшим следом крови. Она долго разглядывала повреждённое ухо и пыталась понять, сможет ли когда-нибудь зашить его. Но куда страшнее было другое: хватит ли у неё сил зашить то, что оказалось разорвано глубоко внутри неё самой.

Возле стены приюта можно было увидеть фрау Тильду и сестру Маргарет; обе выглядели так, будто их фигуры вырезаны из камня. Тильда поддерживала пожилую женщину под руку, однако сама была почти мертвенно-бледной, словно кровь в её жилах внезапно перестала течь.

Маргарет, ещё недавно выглядевшая уверенной и стойкой, теперь с трудом сдерживала дрожь. Она и Тильда неотрывно следили за дорогой, над которой ещё висела пыль. Её губы едва шевелились, будто она читала молитву.

Глава 13. День матери

Спустя двое суток оказалось, что увезённые той ночью дети и старики бесследно исчезли: обратно не возвратился никто.

На третий день у ворот приюта остановилась старая карета скорой помощи: корпус у неё был проржавевший, а красный крест на боку местами облез. Из машины вышли двое санитаров в испачканных халатах, тяжело переставляя ноги в сапогах. Затем они вынесли троих пожилых людей — двух мужчин и женщину, которые уже не могли самостоятельно идти. Их положили на носилки и сразу же перенесли в коридор, где устроили у стены на худых тюфяках, ещё вчера принадлежавших детям, увезённым в ту страшную ночь.

Один из санитаров, отряхнув с белого халата пыль и въевшуюся дорожную грязь, устало усмехнулся и бросил с равнодушием:

— С этими всё ясно: они уже почти при смерти. Совсем не в себе, рассудок потеряли. Вот и отправили их к вам. Протянут ещё день-другой, а потом сами передохнут.

Не дожидаясь ответа, они вскочили в автомашину и умчались прочь.

Зоя приблизилась к пожилым людям и сразу ощутила, насколько они слабы: старики не реагировали на её присутствие, не поворачивали голов и уже не находили в себе сил

откликнуться даже на голос. Их дыхание было тяжёлым, с хрипом, и каждый новый вдох, казалось, давался им с мучительным усилием. Она аккуратно поправила под их иссохшими телами тощие тюфяки, поднесла воды, после чего присела рядом с головой старой женщины и заботливо убрала с её лица край изношенного платка, съехавшего на глаза.

— Вы дома, — произнесла Зоя с заботой, стараясь вложить в этот голос как можно больше тепла. — Здесь вам больше ничего не угрожает.

Старуха с усилием приподняла тусклые, почти бесцветные глаза, словно не веря услышанному, и кряхтя задала вопрос:

— Кто ты?

— Меня зовут Зоя, — сказала она.

Старуха переваривала услышанное. Через короткое время она, словно вслушиваясь в далёкое эхо былых воспоминаний, сказала:

— Зоя... — Это имя сорвалось с губ с горечью, но в нём всё ещё звучала нежность. Она прикрыла глаза, будто возвращаясь в прошлое. — Хорошее имя. Так звали и мою внучку... А в прошлом году она погибла, когда в доме прогремел взрыв.

Зоя, похоже, догадалась, о каком доме шла речь: вероятнее всего, это было то самое здание, из-под развалин которого когда-то извлекли маленькую Гретту. И теперь под этими же каменными завалами, как выяснилось, прервалась жизнь

ещё одного ребёнка. Под сильным впечатлением она поднялась и отыскивала санитар Ковальского, чтобы обратиться к нему с просьбой — перевести стариков из продуваемого коридора, где их постоянно задевали спешащие мимо сёстры, в общую палату. Ковальский выслушал её молча, коротко кивнул и сразу же взялся выполнять просьбу.

Зоя тем временем направилась к часовне — не затем, чтобы молиться, нет, — там, под старой половицей у алтаря, она прятала самое ценное для себя — тетрадь, внешне обыкновенную, но по сути настоящую книгу памяти. В ней она записывала истории всех, кто хотя бы ненадолго оказывался в приюте святого Стефана: детей, стариков, младенцев — тех, у кого не было ни имени, ни прошлого, ни будущего, а единственным свидетельством их пребывания здесь оставалась дата прихода.

В той тетради существовала и отдельная строка — «убытие». Зоя рядом с ней отмечала, по какой причине каждый человек покинул приют. Одних увозили родные, других — больничная повозка, кто-то уходил ещё до рассвета, не дожив до утра, а иные, как те дети и старики, увезённые в ту ночь, пропадали без следа, словно растворяясь в воздухе.

О существовании тайника были осведомлены лишь двое: Зоя и сестра Маргарет. При этом Маргарет никогда не пыталась выяснить, что именно там спрятано, и своим молением она словно сама подтверждала верность данному ей доверию. Особенно это ощутилось в один из вечеров, когда Зоя

возвратилась из часовни с уставшим взглядом и измождённым видом. Тогда сестра Маргарет встретила с ней глазами и едва заметно кивнула. В этом простом движении соединились сочувствие, понимание и обещание хранить её секрет до конца.

Зоя с тех пор держалась за одну непоколебимую мысль: даже если с ней что-нибудь случится, тетрадь останется целой и невредима. Она была уверена, что Маргарет не позволит этому произойти.

Вчера Зоя впервые дополнила список новой строкой, сделанной её аккуратным, хотя и заметно дрожащим от напряжения почерком: «Давид Леви. 9 лет от роду. Прибыл в декабре 1941 года, выбыл — расстрелян в ночь облавы на приют, 16 мая 1942 года». Именно эту дату она добавила только сегодня.

До сегодняшнего дня ей никак не удавалось решиться и взяться за перо. Но стоило ей попытаться добавить в перечень ещё три имени — тех стариков, которых утром привезли в приют, — как она вдруг ощутила, что рука перестала слушаться. Пальцы будто утратили чувствительность и казались чужими. Так эти три имени и остались лишь в её памяти, не попав на бумагу.

На полях она вывела лишь короткую запись, едва справляясь с усталостью и нахлынувшей апатией: «19 мая 1942 года. Трое пожилых людей доставлены санитарями, их состояние крайне тяжёлое».

К тому времени, как двор погрузился в сумерки, к Зое подошла фрау Тильда. За целый день та совсем выдохлась: в одной руке у неё была швабра, а когда она попыталась выпрямиться, спина ответила сухим, жалобным хрустом.

— Зоя, я видела, как ты разговаривала с Карлом, — сказала она, заметно волнуясь. — Что он тебе сообщил? Есть ли новости о детях?

Зоя кивнула.

Часом раньше Карл действительно нашёл её и сообщил страшные вести. Он был не один: его сопровождал невысокий человек с залысиной, которая называется в простонародье «озеро в лесу», и постоянно влажным лбом — это был гестаповский писарь. Карл отвёл его в подворотню, подальше от чужих взглядов, и там тот, сперва путаясь в словах и сбиваясь, начал рассказ.

— У меня есть дочь, — сказал он, сжимая в руках шапку так неловко, будто пытался скрыть в её складках и страх, и стыд, и всё то, что не решался произнести. — Ей только двенадцать. И по ночам я не могу уснуть, всё думаю: а если бы подобное произошло и с ней? Как с теми детьми...

Он замолчал, будто сам испугался собственных слов, и стал нервно прикусывать нижнюю губу.

— Если всплывёт то, что я тут рассказал, меня поставят к стенке первым же, — произнёс он, и в голосе слышалась нервозность. — Я больше не выдержу, понимаете? Но всё же... пусть правду узнает хотя бы один человек.

Он ладонью вытер влажный лоб и выдал Карлу всё, что произошло с теми несчастными детьми.

Зоя глубоко вдохнула, будто перед нырком в ледяную воду, и, собрав остатки сил, наконец произнесла то, что больше не могла держать в себе.

— Их больше нет, — вырвалось у неё, и слова прозвучали надломленно. — Все дети погибли. Им всем сделали инъекции... Я не поняла точно, что именно им ввели, — фенол³ или что-то вроде того... Прямо в сердце... в сердце...

От собственных слов Зоя пошатнулась и вынуждена была вцепиться в край стола обеими руками с такой силой, что пальцы на мгновение побелели.

Фрау Тильда успела поймать Зою за руку, не позволив ей потерять равновесие. На самом деле она догадывалась об этом и раньше — не умом, а тем почти инстинктивным, пугающе точным знанием, которое возникает в человеке раньше любых слов. Однако услышать правду вслух, тем более

³ Феноловые инъекции — один из методов нацистских программ «эвтаназии» Т4 и расового уничтожения. Начиная с 1939 года детей с инвалидностью, психическими расстройствами и «расово неполноценных», по мнению нацистов, убивали в специальных клиниках смертельными инъекциями, а родителям подделывали свидетельства о смерти. К 1941 году программу распространили на взрослых пациентов лечебниц. После формальной отмены Т4 инъекции остались излюбленным способом убийства узников концлагерей, признанных «нетрудоспособными». Всего жертвами этих «медицинских» убийств стали не менее 10 000 детей и многие десятки тысяч взрослых. Детей, увезённых в ночь из приюта святого Стефана, постигла та же участь. Их убили не пулей, не газом, а уколом в сердце — тихо, бесшумно, под штампом «вакцинации».

в таких скупых и сухих выражениях, было всё равно что пережить это ещё раз. Она закрыла глаза, и по её телу прошла едва заметная дрожь.

Спустя короткую паузу, убедившись, что с Зоей всё в порядке, она выпустила её руку и спросила:

— А старики? Что с ними?

Зоя не сразу нашлась что сказать, и в её интонации проскользнула неловкая растерянность, будто она чувствовала себя виноватой и не знала, как это объяснить.

— Их отправили в неизвестном направлении куда-то на восток. К сожалению, Карл не смог больше ничего выяснить.

Сначала фрау Тильда ненадолго погрузилась в свои мысли. Затем она с неожиданной лаской положила свою шероховатую тёплую ладонь на голову Зои. От её руки исходил запах хлорки.

— Зоя, тебе пора возвращаться домой, — проговорила она с почти материнской лаской. — Ты ведь уже третьи сутки здесь. Родители, наверное, места себе не находят, да и сегодня, кстати, День матери.

Зоя посмотрела на фрау Тильду и сразу же задала вопрос:

— Скажите, а у вас есть дети?

Старуха опустила глаза вниз, и по её лицу прошла кривая усмешка — это была не улыбка счастья, а улыбка пережитой боли.

— Да, были двое сыновей, — сказала она. — Один из них погиб где-то под Верденом, в восемнадцатом году.

Она оборвала фразу, затем отвернулась и надолго задержала взгляд на окне, за которым над Кёльном начинали сгущаться сумерки.

— Что касается второго... — произнесла она, глубоко втянув воздух. — Теперь он ходит в чёрной форме СС⁴, и каждый раз, когда наши взгляды пересекаются, он сразу же уводит взгляд в сторону, как будто я ему не мать вовсе.

Фрау Тильда уже собиралась выйти и потянулась к дверной ручке, но в последний момент передумала. Она не стала поворачиваться, лишь сказала:

— Зоя, ты могла бы уйти навсегда из приюта после той ночи. Никто бы и слова тебе не сказал.

Зоя устроилась на табурете и внимательно разглядывала мишку Теодора, бережно сжимая его в ладонях.

— Я это понимаю, — прозвучал её едва различимый ответ, при этом она не подняла головы.

⁴ С 1930-го для многих юношей вступление в СС было не мрачным выбором, а манящим приключением. Реальность Великой депрессии с её безработицей и бедностью была серой и унылой, а нацистская пропаганда во главе с Геббельсом умело создавала альтернативную реальность — мир, полный героизма и единства. Молодёжь манили торжественные факельные шествия под звуки маршей, чувство братства в походах и у костров. И, конечно, сама форма: элегантная, подчёркивающая фигуру, она создавала образ сильного и опасного героя нового мира. Гимны, исполняемые тысячами голосов, били не в разум, а прямо в сердце, даря чувство причастности к чему-то великому. Юноша мог искренне верить, что вступает в рыцарский орден защитников отечества, не замечая, как за красивым фасадом скрывается бездна. Мать работала в приюте, куда свозили тех, кого он должен был презирать, но она продолжала его любить, а он не мог вынести этого, поэтому отводил глаза.

Фрау Тильда ненадолго задумалась, будто подбирая слова для непростого разговора, и затем произнесла:

— Почему ты всё же решила не уходить после всего, что здесь случилось?

В комнате воцарилось безмолвие, которое, казалось, только усиливало напряжение. За стеной слышалось ровное дыхание одного из стариков, недавно привезённых сюда, а над столом лампа сиплю потрескивала, бросая неровный свет. Зоя не могла отвести взгляд от мишки с оторванным ухом — от того места, где когда-то в последний раз сомкнулись пальцы Давида, сжавшие потёртый плюш.

— Если бы тогда я всё же ушла... — произнесла она спустя паузу, и в её голосе послышалась мягкость, — что бы я потом сказала себе, когда снова и снова возвращалась мыслями к той ночи?

— Фрау Тильда, я не считаю себя героиней, — ответила она, и в её голосе чувствовалась непреклонность, которую не могли ослабить даже воспоминания. — В тот день я оказалась не в силах что-либо изменить. Я не сумела вмешаться, но и не отвела взгляд. Я смотрела, стараясь сохранить в памяти каждое мгновение тех страшных событий.

— Я хотела, чтобы та ночь вошла в меня навсегда — под кожу, в плоть, в самую глубину памяти. Чтобы я пронесла это через всю жизнь, не позволив ни одному дню стереть увиденное. А те, кто опускал шторы и делал вид, что ничего не слышит... — На её губах появилась горькая усмешка. — Они

закрыли не только глаза. Они намеренно заткнули уши, заперли двери, захлопнули окна и убедили себя, будто мир за стенами их домов не существует. Будто всё это происходит где-то в стороне. Не с ними и их не касается.

Она подняла голову, и в её взгляде, несмотря на красноту от слёз и изнурённые бессонницей глаза, всё ещё жила упорная, почти наивная уверенность в том, что она сумеет не сломаться.

— Я не собираюсь превращаться в одну из них, — сказала она решительно.

Фрау Тильда взглянула на Зою с теплотой, сочувствием и явной поддержкой.

— Ладно, — сказала она. — Можешь оставаться, если хочешь. Но учти: чем больше времени ты проведёшь здесь, тем сложнее тебе будет уйти отсюда позже.

— Да, знаю, — ровно сказала Зоя; в её голосе не слышалось сомнений.

Фрау Тильда больше не произнесла ни слова и, аккуратно прикрыв за собой дверь, удалилась из комнаты.

Зоя следом направилась к выходу и остановилась у двери, всё никак не решаясь выйти. Затем она провела рукой по голове мишки, коснулась места, где раньше было ухо, выпрямилась, привела в порядок платье и вышла сначала в коридор, а потом на улицу, во двор.

Снаружи её встретил вечерний Кёльн: воздух был наполнен дымом из труб и едва слышным стрекотом сверчков в

садовых ветвях. Теодор, ещё недавно лежавший в кармане её пальто, теперь перекочевал на руки. Зоя прижала его к груди сильнее. В старом плюше всё ещё чувствовалось тепло рук Давида.

Глава 14. Возвращение

Зоя не появлялась дома уже три дня. После той ужасной ночи она всё время оставалась в приюте: принимала новых людей, помогала им освоиться, ночами ненадолго проваливалась в тревожный сон на жёсткой лавке в кладовке и почти ничего не ела. Родители ждали её дома, однако тогда она не могла уйти.

Только сегодня, услышав от фрау Тильды, что мать, должно быть, уже сильно тревожится и не может найти себе покоя, Зоя наконец решила пойти домой.

Она шла по улице почти на пределе сил: от усталости она шаталась, а ноги ныли так, будто они вот-вот откажут. Подошвы на обуви стёрлись до тонкого, почти бумажного слоя. И лишь когда до неё донёлся знакомый запах нагретой печи — той самой, старой, вечно дымящей, которая начинала чадить, стоило забыть прикрыть заслонку, — она поняла, что дом уже совсем близко.

Едва переступив порог дома, она почувствовала запах картофельного супа, который был ей хорошо знаком с самого детства. Правда, сейчас его приготовили на скорую руку: из одной картофелины, без мяса, зато так, чтобы хватило не только на большую кастрюлю, но и осталось на следующий день.

Из кухни доносились размеренные звуки работы киянки:

отец возился с табуреткой, у которой сломалась ножка. Он то и дело что-то подкручивал, прибавал и подправлял, потому что в их доме на покупку новой вещи денег не было.

У окна, в кресле, сидела София — мать семейства, погружённая в вязание. В комнате был полумрак, а свет из коридора, пробивавшийся через приоткрытую дверь, лишь чуть обозначал очертания мебели и фигуру женщины. Её руки работали уверенно и размеренно: спицы мелькали одна за другой, создавая короткие серебристые отблески.

В клубке у неё была серая грубоватая шерсть — последний моток, добытый ещё до войны в обмен у соседки. София обращалась с ним очень осторожно, будто ценность имел каждый оборванный сантиметр нити, и потому не позволяла себе ни одного лишнего движения.

Погружённая в мысли, она вязала носки для отца, для Зои и для себя — как будто ими можно было хоть немного защитить родных от зимней стужи. Тёплая обувь в их доме давно превратилась в недостижимую роскошь, поэтому каждый стежок был ещё одним небольшим выигрышем у суровой поры, всё глубже врывающейся в их нищую, лишённую всяческих человеческих благ жизнь.

— Я дома... — произнесла Зоя, переступая через порог и снимая обувь, которая успела натереть ей ноги до мозолей. — Мам, пап, простите, что вам пришлось так переживать из-за меня.

Услышав голос дочери, мать резко вскинула взгляд и от-

ложила вязание. Затем она поднялась, шагнула к ней и обняла так крепко, словно боялась, что, если хоть на секунду ослабить руки, дочь снова исчезнет.

— Доченька, Зоя, где ты пропадала? — В её голосе слышались и упрёк, и сильное облегчение. — Мы уже не знали, что и думать, места себе не находили.

— Мама, в приюте за эти дни оказалось столько дел, что я просто не смогла выбраться раньше, — сказала Зоя, не отстраняясь от её рук.

— Слава богу, ты вернулась живая и здоровая. Больше не заставляй нас так волноваться. Ты ведь сама видишь, что творится на улицах: евреев хватают средь бела дня без всякой веской причины, — сказала мать и, уловив запах сбежавшего супа с кухни, торопливо направилась к плите.

Отец Исаак, завершив дела на кухне, появился в дверном проёме, на ходу вытирая ладони грубой тряпкой. Затем он оказался перед Зоей и некоторое время молча разглядывал её. В его взгляде не было ни укора, ни жёсткости — лишь глубокое беспокойство, какое бывает только между очень близкими людьми, когда любые слова уже не нужны и за них говорит само сердце.

— Ты успела поесть? — поинтересовался он, бросив взгляд на её заметно похудевшие руки.

— Да... в приюте я немного поела, — ответила Зоя, неловко одёргивая подвернувшийся рукав платья.

Он немного наклонил голову, словно услышанного ему

хватило, хотя по выражению лица становилось ясно: сказанное его не устроило. После короткой паузы он приблизился ещё на один шаг, а затем опустил на её плечо крупную, сильную ладонь, огрубевшую от труда, но при этом тёплую и на удивление нежную.

— Мне кажется, ты сильно похудела, дочь, — сказал он, не сводя с неё глаз. — И прежняя улыбка куда-то пропала. Когда ты не улыбаешься, дом словно теряет свой уют и становится чужим. Ты ведь понимаешь это?

Зоя на секунду коснулась щекой его руки, надеясь снова почувствовать в ней то старое, привычное тепло, которое когда-то её успокаивало.

— Со мной всё в порядке, папа, — произнесла она вполголоса. — Просто я сильно вымоталась.

Он медлил, не убирая руку, боясь, что любое резкое движение могло окончательно разорвать хрупкую связь между ними.

— Возможно, — ответил он. — Но ты выглядишь совсем не так, как обычно. Скажи мне честно: у тебя что-то произошло?

Зоя крепче сомкнула губы.

— Не сейчас, папа, — произнесла она после небольшой паузы. — Пожалуйста, не сейчас.

Отец тяжело вздохнул, сжал ей плечо — бережно, почти виновато, — и лишь потом убрал руку.

— Ладно, иди сначала вымой руки и садись ужинать. Мать

совсем измучилась, уже третьи сутки изводится.

Зоя вошла на кухню и сразу почувствовала ту безмерную бедность, что жила здесь повсюду: пустой стол, в холодильнике почти не осталось еды — лишь несколько картофелин с позеленевшими боками, а на тарелке лежал подсохший кусок хлеба, прикрытый марлей.

Перед ней уже стояла миска с картофельным супом — самым простым, почти нищим: ни мяса, ни масла, только вода и разваренная картошка. И всё же суп был горячим, и в этом скромном тепле, в этой будничной заботе было больше любви, чем в самой пышной трапезе.

— Поешь, дочка, — сказала мать, стараясь, чтобы в словах звучали забота и нежность, хотя за этим угадывалось беспокойство. — На тебя ведь без слёз не взглянешь: совсем худала, одна кожа да кости.

Она села напротив, упёршись ладонями в стол, и всё время смотрела на Зою.

— Если бы ты только знала, как мы с отцом испугались, — сказала она вполголоса. — Трое суток от тебя не было ни весточки... Я уж и не знала, что и думать.

Зоя опустила взгляд и, поднеся ложку к губам, на мгновение ушла в свои мысли, так и не попробовав горячий бульон.

— Мам, ты ведь помнишь, что подобное уже бывало: в приюте всегда хватало забот. Не волнуйся, у меня всё хорошо, — наконец произнесла она, заметив тревогу в глазах матери.

Мать лишь с горечью усмехнулась, затем чуть покачала головой.

— Всё хорошо? — переспросила она, глядя на Зою. — Не нужно так говорить, дорогая. Ты совсем не похожа сама на себя. Будто внутри тебя всё опустело и выгорело. Я ведь вижу: ты сидишь прямо передо мной, а мыслями — где-то далеко отсюда.

— Пожалуйста, не отстраняйся от нас, хорошо? — продолжила мать. — Я не буду лезть к тебе с ненужными расспросами. Просто помни: мы с отцом всегда рядом и готовы поддержать тебя.

Зоя вскинула взгляд и увидела глаза матери. Ни слова не прозвучало — лишь короткое, безмолвное движение головой в ответ.

Мать легонько коснулась её руки, чуть пододвинув миску к ней.

— Ладно, поешь спокойно. А завтра разберёмся — утро вечера мудренее.

Зоя хотела ответить, но ни один звук так и не сорвался с её губ. Она закончила есть суп, куском хлеба собрала с тарелки всё до последней капли и отнесла посуду к раковине. Там она вымыла её и убрала на верхнюю полку.

Отец появился на кухне и остановился возле стола. Он посмотрел на кастрюлю с бесцветным супом, а потом перевёл взгляд на Зою.

— На следующей неделе я обязательно принесу тебе мас-

ла, — заявил он с уверенностью. — У Хофмана должок за кровлю, так что ему не удастся отвертеться.

Зоя слегка мотнула головой в знак отказа.

— Не надо, папа.

Но он твёрдо, с почти раздражённой настойчивостью, снова сказал:

— Нет, так нельзя. Нельзя неделями питаться одним постным супом — ты же так ноги протянешь.

Зоя приблизилась и прижала его к себе. Сначала он стоял растерянно, будто не привык к ласке и не понимал, куда девать руки. Но почти сразу ответил на объятие — крепко и без слов, с бережной силой, боясь разжать руки.

У входа неподвижно стояла мать; на её лице была редкая, почти хрупкая улыбка, появлявшаяся лишь в присутствии близких, когда дом на миг наполнялся особым теплом, а сама атмосфера будто возвращала память о прежних, светлых днях.

Зоя, смутившись, опустила взгляд и, мягко высвободившись из отцовских объятий, поспешно достала из кармана небольшой свёрток, аккуратно завёрнутый в газетную бумагу. Она положила его на стол и, чуть волнуясь, произнесла:

— Мам... Я хотела сказать раньше, но всё никак не могла решиться. Это тебе. С Днём матери.

Мать аккуратно раскрыла бумажный свёрток и увидела внутри сахар: всего две маленькие горки. Одна была белой, а вторая чуть пожелтела от времени. Зоя собирала их по кру-

пинкам, стараясь не потерять ни одной, словно складывала не сахар, а надежду на маленькое чудо. Мать посмотрела на эти бесценные крошки, затем перевела взгляд на дочь и без единого слова подтянула её к себе.

Она обняла Зою так сильно, будто хотела защитить не только её, но и всё то непрочное, что ещё связывало их, — последние крохи материнской любви. Затем она резко отстранилась и поспешно, смущённо вытерла слёзы, словно ей было неловко показывать эту слабость.

— Спасибо! — сказала она с тёплой материнской заботой. — А теперь иди, дочка, отдыхай: завтра, вероятно, снова придётся подниматься очень рано.

Зоя вошла в свою комнату и почти сразу опустилась на кровать, даже не сняв одежду. Там её уже ждал новый носок — мать связала его для неё с особой заботой, и он получился плотным, толстым и хранил в себе материнское тепло. Зоя натянула его на ладонь, как маленькую варежку, и вдруг улыбнулась — впервые за несколько дней.

В гостиной за тонкой перегородкой горел свет. Родители всё ещё не ложились спать: в доме держалось напряжённое безмолвие, которое время от времени нарушал ровный стук отцовских часов — низкий, приглушённый, словно с трудом билось сердце старого человека.

Затем мать наконец произнесла несколько слов. Она старалась, чтобы голос звучал приглушённо, но тревога всё равно прорывалась в каждом слове: после того как сегодня она

увидела, в каком состоянии вернулась Зоя, скрывать своё волнение у неё уже не получалось.

— В приюте случилось что-то страшное, ты уже знаешь?
— обратилась она. — Поговаривают, что туда нагрянули эсэсовцы. И Зоя тоже там была... Она видела всё собственными глазами. Всё, понимаешь?

— Тише, — резко остановил её отец. — Ты можешь разбудить её.

— Похоже, она вовсе не спит... я это чувствую. — Мать внезапно оборвала фразу, словно испугавшись того, что только что произнесла про приют.

Над комнатой повисла неловкая пауза.

Зоя почти не двигалась и уткнулась щекой в подушку, стараясь дышать как можно незаметнее. Её сердце колотилось настолько сильно, что ей казалось: этот стук вот-вот услышат родители из соседней комнаты.

— Того мальчика... Давида... говорят, его убили прямо на её глазах. — Голос матери дрогнул, сорвался на последнем слове.

Отец ненадолго погрузился в размышления и прервал речь. Когда он снова начал говорить, в его голосе чувствовалось изнеможение и хриплый, надорванный оттенок:

— И что, по-твоему, она могла сделать? Ты хочешь, чтобы она бросилась на них? Чтобы и её тоже...

Он оборвал фразу на полуслове: мысль будто споткнулась и не вышла наружу. В наступившей паузе раздался лишь

протяжный, глубокий выдох.

— Я сама толком не понимаю, чего мне хочется, — сказала мать почти шёпотом. — Но точно не этого. Не того, чтобы ей пришлось на такое смотреть. Никто не должен сталкиваться с подобным зрелищем.

Когда отец наклонился вперёд, кресло издало резкий, жалобный скрип. Зое отчётливо представилась его крупная, огрубевшая от работы ладонь, которой он накрыл тонкие, исколотые иглой пальцы матери, — в этом движении было не столько утешение, сколько безнадёжная попытка поддержать её.

— София, ты ведь и сама понимаешь, к чему всё идёт, — сказал он, и в его голосе отчётливо проступали боль, раздражение и сдержанная ярость. — Ситуация день ото дня только усугубляется. Ходить по тротуарам нельзя, дышать рядом с немцами нельзя. Эти чёртово клеймо на груди, будь оно неладно, которое должно было оберегать наш народ, теперь выглядит как метка позора и унижения. Хлеба даже не купишь, не говоря уже обо всём остальном. Нас превращают в рабов, в скот... Мы...

Он резко прервал себя, не договорив начатое, и между ними тут же повисла напряжённая пустота, в которой отчётливо угадывались только сбивчивые вдохи обоих.

— Мы бессильны, — сказал он наконец уже спокойнее. — Как и она. Как и все вокруг нас. Нам остаётся лишь делать вид, будто ничего не происходит.

София с горечью улыбнулась — в этой улыбке чувствовалась скорее боль, чем насмешка.

— Значит, по-твоему, нам нужно просто отвернуться и сделать вид, что ничего не происходит? — сказала она. — Или, может, нам остаётся только ждать, пока каждого из нас не выловят по одному и не отправят на тот свет вслед за этим несчастным мальчиком? Исаак, я не требую от неё спасения мира. Я молю лишь об одном: чтобы Зоя выжила. И чтобы она всегда помнила, чья она дочь.

Отец ничего не сказал. Когда он притянул её к себе, кресло снова жалобно скрипнуло, а сам он уткнулся лицом в её волосы и на мгновение словно ушёл в себя. Ни обещаний, ни попыток утешить — только безмолвие, в котором отчётливо чувствовалось главное: мы рядом, мы вместе, мы всё ещё живы. В такие моменты этого хватало с избытком, и никакие слова были уже не нужны.

В комнате остались лишь размеренные удары часов, отсчитывающих минуты. В остальном всё затихло.

Зоя достала из-за пазухи медвежонка Теодора и сжала его в ладонях. Он, конечно, не мог ответить ей теплом в ответ, но именно эта игрушка оставалась для неё последней поддержкой — чем-то живым и осязаемым среди хрупкого, тревожного мира. Почти сразу ей вспомнились слова матери, ещё недавно прозвучавшие по ту сторону стены: «Она просто жила. И не забывала, что она — наша дочь».

В голове Зои без конца звучали слова матери, и в какой-то

момент мысли унесли её в крепкий, глубокий сон.

Глава 15. Макс

Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.

Вода скользила по телу Макса прохладным, почти бархатным прикосновением. И в эти мгновения он не позволял себе никаких размышлений: мысль только мешала движению, отнимая у него драгоценные секунды. Существовал лишь размеренный порядок действий — гребок, ещё гребок, вдох, выдох, поворот; всё остальное было излишним.

Усталость уже начинала медленно, но настойчиво вливаться в мышцы плотной тяжёлой волной, однако тело, натренированное долгими часами в бассейне, ещё держалось и безотказно исполняло его волю. Макс коснулся ладонью бортика, вырвался из воды и, переводя дыхание, с напряжением посмотрел на секундомер. Время оказалось лучшим из всех прежних — и всё же не таким, каким он хотел его видеть. На его лице мелькнула досада: даже этот, почти безупречный, результат не смог усмирить его упрямство, не позволявшее признать достаточным ничего, что не было доведено до абсолютного совершенства.

— Ещё раз, — произнёс он, обращаясь не к кому-то рядом, а к самому себе. Не позволяя усталости окончательно овладеть телом, он вновь оттолкнулся от борта.

Бассейн «Кёльн-Зюд» в утреннюю пору казался вымершим. Сюда в эти ранние часы приходили немногие — в по-

пытке перебороть возраст, усталость, уходящее время. Среди них были несколько спортсменов, в чьих телах ещё тлепетала нерастратенная молодость, и старики, которым уже некуда было деться от самих себя.

Макс принадлежал к первым. А Соломон — неизменно стоявший у бортика с палкой в руке — был одним из тех стариков и одновременно его тренером. Но для любого чужого взгляда они оставались лишь двумя евреями, которые делали вид, будто мир за окном для них ещё не изменился.

Соломону было уже под семьдесят, но он по-прежнему держался прямо, с той сухой, почти военной осанкой, что рождается у людей, всю жизнь привыкших встречать испытания не сгибаясь.

Выцветшие от времени глаза его по-прежнему смотрели цепко и остро, словно и в старости он не отводил взгляда от той самой финишной черты, к которой когда-то шёл без передышки, не позволяя себе ни слабости, ни промедления.

Он начал тренировать Макса, когда тому было всего двенадцать лет, а со временем стал для него не только наставником, но и почти вторым отцом. Старик не допытывался, не утешал лишними словами — он просто каждый день являлся и неизменно исполнял свой долг.

Соломон стоял у деревянного бортика, опираясь на тонкую трость, и молча следил за Максом, пока тот, напрягаясь до предела, вновь и вновь повторял одну и ту же техническую ошибку.

— Поворот, — сказал он громко, едва заметно коснувшись кромки досок концом своей палки. — Опять смазываешь. Всё у тебя одно к одному, Макс: одна и та же ошибка. Уже десять лет я говорю тебе об одном и том же, а ты всё мчишься вперёд, будто впереди не длинная дистанция, а последние метры перед финишем.

Он сделал паузу, чтобы сказанное им осело прочно и надолго в сознании Макса.

— Не задерживайся на гребках, — сказал Соломон уже тише, но с той же неколебимой строгостью. — Ускорение нужно брать от толчка у бортика. Беречь надо не силы, а разум. Распределяй нагрузку ровно, как хлеб по долгой дороге: понемногу, но на весь путь.

Макс уже готов был возразить — по привычке, с юношеским упрямством, в котором всегда жила надежда оправдать собственную ошибку, — но только сильнее сжал губы и промолчал. Он знал это слишком хорошо: спорить с Соломоном было всё равно что пытаться остановить ветер, веками дующий в одну и ту же сторону.

Он снова оттолкнулся от бортика и, набрав полную грудь воздуха, ушёл под воду.

И тогда, в этой тёмной, давящей тишине, где собственное сердце пульсировало в висках глухим боем, прошлое внезапно распахнулось перед ним — не как воспоминание, а как живая рана. Зима сорок первого года. Набережная Рейна. Снег, хрустящий под сапогами. И женский крик, острый

и пронзительный, словно волчицы, угодившей в охотничий капкан.

У самого берега кто-то провалился под тонкую ледяную корку.

Зима была такой лютой, что холод почти сразу сводил пальцы и сжимал дыхание. Макс не оглянулся в поисках помощи и не стал звать тех, кто мог бы оказаться рядом. Он быстро скинул пальто, одним движением перелетел через парапет и, не чувствуя ни страха, ни холода, бросился вниз — в ледяную пропасть, которая не остужала, а жгла изнутри, как огонь.

Время в ледяной воде растянулось до бесконечности. Ломкий наст осыпался под гребками его сильных рук, мутная пелена резала глаза, и Макс уже не различал, где небо, а где зияющая бездна реки. Он плыл на ощупь, упрямо, почти не чувствуя собственного тела, пока пальцы наконец не коснулись чего-то маленького и беспомощного.

Это была девочка. Она захлёбывалась, голова её бессильно откинулась назад, губы посинели от холода.

— Держись... Слышишь? Держись... Я тебя вытащу — хрипло выдохнул Макс, хотя знал, что в этой ледяной пучине слова почти бессильны.

Он вцепился в её воротник, притянул к себе и, собрав остаток сил, вытолкнул ребёнка к поверхности.

Их вытащили на берег чьи-то сильные руки. Мать девочки, охваченная страхом, крепко прижимала к себе дочь и без

остановки раскачивалась, пронзительно крича от ужаса.

Макс, напротив, сидел прямо на мокром снегу, дрожа всем телом. Зубы его стучали так, что он не мог сдерживать этот жалкий, животный холод. Он смотрел на свои руки — бледные, синюшные, чужие, будто принадлежавшие не ему, — и, казалось, видел их впервые.

Через три дня в газете появилась короткая заметка: «Неизвестный спас ребёнка из Рейна». Ни имени, ни фотографии. Макс вырезал её и бережно спрятал в шкафчик, рядом с другой выцветшей вырезкой — с чемпионата рейха 1935 года.

На той старой фотографии он стоял на пьедестале, с серебряным кубком в руках, а под снимком значилось: «Надежда немецкого плавания». Тогда ему пророчили великое будущее, говорили о его таланте, о славе, о стране, которая будто бы умеет чтить своих чемпионов. Но годы прошли, и память оказалась короткой.

После 1938 года его имя исчезло из списков одно за другим и было вычеркнуто не только из протоколов, но и из самой жизни. Федерация отстранила его от сборной, клуб исключил из своих рядов, а те тренеры, что прежде улыбались и заискивали, теперь отводили глаза и не подавали руки. И всё же один человек остался рядом. Соломон не отвернулся.

Он продолжал приходить на тренировки в бассейн, хотя с каждым разом это всё меньше напоминало обычную привычку и всё больше — молчаливый вызов судьбе. В этом

замкнутом мире хлорированной воды, будто отрезанном от остального света, ещё оставалось краткое затишье. Но оно было обманчивым. Каждое занятие могло стать последним — и для него, и для старого Соломона. Пока сюда ещё не дотянулись руки палачей. Пока что не дотянулись...

— У меня для тебя новости, — произнёс Соломон, чуть кивнув в сторону раздевалки. — Выбирайся из воды и одевайся.

В раздевалке висел спёртый, едкий запах хлорки, сырости и вьёвшегося в стены пота. Соломон, нащупав в кармане свёрток, вынул два куска чёрствого хлеба, бережно завернутых в газету. Один из них он без лишних слов протянул Максу.

— Ешь, — сказал он тихо, почти по-отцовски. — Путь тебе предстоит неблизкий, а вести, боюсь, принёс неутешительные.

Он чуть помолчал, собираясь с духом, и, не поднимая глаз, спросил:

— Ты слышал о приюте святого Стефана?

— Нет, — едва слышно ответил Макс.

Тогда старик заговорил снова, и в его голосе, словно в приглушённом эхе, легла тяжесть услышанного и пересказанного им повествования:

— Несколько дней назад туда ворвались эсэсовцы. Они увезли всех — и детей, и стариков. А одного мальчика застрелили прямо во дворе.

Он перевёл дыхание, словно сам увидел эту страшную сцену, и спустя мгновение продолжил:

— И ещё говорят, там была девушка. Когда офицера убил мальчика, она бросилась на него. Хотела задушить голыми руками. Её с трудом оттащили... Если бы не это, её бы наверняка тоже убили бы на месте.

Макс задумался. Кусок хлеба застрял в горле, и он долго не мог ни проглотить его, ни вдохнуть воздух полной грудью. И вдруг в сознании всплыл образ — неясный, почти стёртый, словно пар на стекле: девушка, чужая, безымянная, с лицом, которое он так и не мог представить, но с поступком, не подлежащим забвению. Одна против всех. Без оружия, лишь с яростью и отчаянием, сжатыми в кулаках. «Таких, как она, мало», — подумал он.

Соломон поднял на Макса утомлённый взгляд; в глазах его, красных от бессонницы, не осталось почти ничего, кроме тревоги и страха перед неизвестностью дней.

— Тебе ведь тоже пришла повестка, — сказал он без просительной интонации, будто сам уже давно знал ответ. — Явиться на вокзал с вещами. Когда это было? Два дня назад? Три?

Макс опустил виновато глаза, не решаясь встретиться с ним взглядом, и, отвернувшись, негромко ответил куда-то в сторону:

— Пять. В прошлый вторник.

Соломон криво усмехнулся и, с досадой хлопнув ладонью

по колену, произнёс с горечью:

— И надо же быть таким балбесом, чтобы не попытаться скрыться и не исчезнуть тотчас же...

Тогда Макс медленно повернул голову.

— А ты? — спросил он. — Почему не спрятался ты сам? Почему всё ещё приходишь сюда?

Соломон ещё долго всматривался в шкафчики раздевалки, будто в потемневших дверцах мог отыскать хоть какой-то ответ; он напряжённо перебирал в памяти ускользающие мысли. Наконец он поднял взгляд на Макса, и в нём уже не осталось ни гнева, ни досады — только глубокая усталость.

— Ты задаёшь вопросы, на которые у меня нет ответов, мой мальчик, — сказал он. — Но я не стану метаться по углам и прятаться, как загнанная крыса в норе. Такой ответ тебя устроит?

Макс не нашёлся что ответить и, опустив взгляд, погрузился в томное молчание.

— Понимаешь ли ты, что означает твоя неявка по повестке? — продолжил старик, — Это значит только одно: за тобой придут. Не сегодня, так завтра. А может, и прямо сейчас. Они могут явиться сюда в любую минуту, и остановить их нельзя: эти не отступят ни перед чем, пока не выловят нас всех до последнего.

Соломон скупно кивнул — не столько соглашаясь со сказанным, сколько подтверждая собственную мысль, давно уже созревшую и теперь, казалось, окончательно утвердив-

шуюся в его сознании.

— Пока они не добрались и сюда, тебе нужно уходить, Макс, — произнёс он уже без прежней спешки. — Сегодня же. Немедленно.

Макс вскинул на него вопрошающий взгляд.

— Куда? — спросил он.

— К швейцарской границе, — ответил Соломон. — Там у меня есть старый знакомый. Надёжный человек. Если повезёт, он поможет тебе её перейти.

Он на некоторое время замолчал, прислушиваясь к далёкому гулу, будто боялся произнести вслух то, что уже подступало к ним со всех сторон и становилось неотвратимым.

— Пока ещё есть шанс проскользнуть, Макс, — тихо добавил он. — Пока ещё есть шанс...

Макс посмотрел на свои руки. Пальцы дрожали, и дрожь эта исходила не от холода. За последние месяцы он научился различать в себе многое — страх, усталость, отчаяние, — но то, что сейчас сдавливало ему грудь, было тяжелее всех этих чувств, вместе взятых.

Он уже лишился отца и матери — год назад их увезла грузовая машина с покрашенными окнами⁵. Он искал их меся-

⁵ Первые мобильные газовые камеры — газенвагены, или «душегубки», — появились в конце 1939 года в рамках программы «эвтаназии» Т4. Позже, с 1941 года, их начали массово использовать для уничтожения евреев. Но уже в 1939 году отдельные экспериментальные машины такого типа, замаскированные под грузовики с покрашенными окнами, забирали людей, которых режим считал «нежелательными». В одной из таких машин исчезли родители Макса.

цами, без сна и отдыха, днём и ночью, рискуя собственной жизнью, но так и не нашёл ни единого следа, ни малейшего знака, будто они исчезли из мира, словно их и не было.

И только Соломон оставался рядом — единственный близкий человек, последняя тонкая нить, не позволявшая Максу сорваться в пучину полного отчаяния. Теперь он не мог позволить себе потерять и его.

— А ты? — Макс наконец поднял голову. — Ты ведь пойдёшь со мной?

На губах Соломона мелькнула улыбка, но в этой усмешке не было ни доли шутки — лишь горечь человека, который слишком хорошо знает цену подобным вопросам.

— Я? — вопросительно переспросил он. — Нет, Макс. Я останусь здесь.

Он бросил взгляд на палку, на которую с трудом опирался, и на свои ноги, давно уже не слушавшиеся его так, как прежде.

— Быть может, и я решился бы бежать вместе с тобой, — добавил Соломон глухо. — Но посмотри на меня. С такими ногами я не беглец. Я стану тебе только обузой.

— Без тебя я никуда не уйду, — твёрдо ответил Макс.

Старик покачал головой и с усталой, почти сердитой усмешкой бросил:

— Ну и дурак! Если останешься, то погибнешь вместе со мной. Понимаешь?

— Значит, погибнем вместе, — твёрдо и без колебания

сказал Макс.

Соломон посмотрел на него долгим изучающим взглядом, в котором смешались досада и тёплая, почти отцовская гордость.

— Упрямый, как твой отец, — промолвил он. — Тот тоже никого не слушал, считал правым только себя. Весь в него.

С этими словами он с трудом поднялся, крепче сжал палку и, тяжело шаркая, направился к выходу, словно каждый шаг отдавался болью в измученном теле.

Макс остался один в раздевалке. Он быстро оделся и открыл шкафчик. Внутри почти ничего не осталось: лишь плавки, полотенце да засохший, заплесневелый ломоть хлеба — жалкий, едва ли пригодный в пищу.

Когда Макс уже собирался уйти, рука его машинально опустилась в карман куртки — и вдруг пальцы коснулись плотного края старой фотографии, что была ему дороже всего. Он пристально на неё посмотрел.

На фотографии он — двенадцатилетний мальчик, которому только что вручили нагрудный знак чемпионата рейха и кубок. Рядом стоит Соломон: уже седой, с измождённым, но по-прежнему прямым взглядом. Чуть в стороне стоял репортёр с блокнотом, повернувшись вполоборота.

Соломон бросил в воздух хлёсткую фразу: «Два еврея — две победы», газетчик не позволил себе ни улыбки, ни лишнего вопроса. Он лишь смущённо опустил глаза и, не произнеся ни слова, поспешно ретировался. Уже тогда само

нахождение в компании с евреями становилось смертельно опасным.

Макс вышел на улицу, и Кёльн встретил его серым небом — низким, хмурым, будто город был придавлен невидимой плитой. По мостовой шли люди с опущенными головами, они скользили взглядом мимо друг друга, не решаясь задержаться на чужом лице.

Он свернул в узкий переулок и сразу понял, что ошибся: впереди, неподвижные и внимательные, стояли двое в штатском. Внешне они ничем не отличались от прохожих, но в их осанке, в невозмутимой собранности угадывались люди гестапо. В их неподвижных, цепких взглядах было что-то от охотничьих псов, выследивших добычу. Они презрительно осматривали каждого, кто проходил мимо.

Макс свернул с улицы и почти бегом скрылся в тёмной подворотне. В груди у него колотилось сердце — резко, часто, с такой силой, будто ещё миг, и оно вырвется наружу. Он ясно сознавал: охота, вероятнее всего, ведётся не на него, однако страх заглушал всякий голос рассудка.

Когда он наконец добрался до дома, небо уже совсем почернело и на крыши опустилась вечерняя мгла. Он вошёл, запер за собой дверь и, не снимая одежды, прижался спиной к холодной стене.

Вдох.

Выдох.

Ещё раз — вдох.

Ещё раз — выдох.

Он оттолкнулся от стены и неторопливо подошёл к зеркалу, висевшему над столом. В мутноватом стекле, словно в воде старого пруда, дрогнуло его отражение: длинные сильные руки пловца, тёмные кудри, прилипшие ко лбу, и карие глаза — настороженные, почти звериные, уже научившиеся не верить ничему, что окружает его последние годы.

— По тротуарам ходить нельзя, — негромко произнёс он своему отражению. — В трамваях ездить нельзя. Еду купить — и то нельзя. Стало быть, и жить нельзя.

— Скоро и отражение нам своё запретят, — добавил он, не отрывая взгляда от зеркала.

Он усмехнулся, но усмешка вышла горькой и кривой.

Макс прикрыл глаза и, словно по воле тёмной, неотвязной памяти, увидел воду — не ту, хлорированную и спокойную, что плескалась в бассейне, а холодную, речную, чёрную, как ночное стекло. Ту самую, из которой когда-то вытащил девочку. Лица её он уже не помнил: время стёрло черты, как волны океана, стирающие следы на мокром песке. Но дрожь её тела, тяжесть мокрой одежды, судорожный, прерывистый вздох — всё это он хранил в себе с такой ясностью, словно это случилось час назад.

За окном резко, почти зло залаяла собака. Потом где-то вдалеке прошуршала машина, скрипнула по мокрой мосто-

вой шинами и растворилась в ночи.

Макс опустился на кровать, так и не сняв одежды, будто и сам не был уверен, наступит ли завтрашний день. Бассейн мог снова стать частью его привычного пути — а мог исчезнуть из него без предупреждения, потому что в этом мире всё менялось внезапно, резко и в одночасье.

Вдох.

Выдох.

Вдох.

Выдох.

Глава 16. Последний заплыв

На следующее утро Макс пришёл в бассейн, когда Кёльн ещё не успел окончательно стряхнуть с себя сон. Небо было хмурым и пасмурным. Редкие фонари загорались один за другим, будто сам город нехотя приоткрывал глаза после долгой ночи. От реки тянуло сыростью.

У входа в бассейн на скамье уже сидел Соломон, задумчиво перебирая в пальцах старый секундомер. Рядом, приклонённая к лавке, стояла его неизменная палка с потрескавшейся рукояткой — вещь простая, почти обыденная, но почему-то внушавшая уважение, как знак прожитых лет и пережитых невзгод.

— Ты на десять минут опоздал, — буркнул он, не поднимая головы.

Макс замедлил шаг и виновато развёл руками.

— Проспал, — признался он. — Сам не понимаю, как так вышло. Всю ночь не мог сомкнуть глаз, постоянно ворочался с боку на бок.

— Всё та девушка из приюта... о которой ты рассказывал, — продолжил он. — Она не выходит у меня из головы. Как она там, совсем одна... — Макс запнулся, будто испугавшись собственной душевной слабости, и, осознав свою неучтивость, добавил: — А ты сам давно тут сидишь?

Соломон хмыкнул, поднял взгляд и чуть прищурился —

то ли от сырой утренней прохлады, то ли от старости, всё чаще подводившей его глаза.

— Достаточно давно, чтобы успеть замёрзнуть, — ответил он. — А вот достаточно ли давно, чтобы считать это ожиданием, — кто знает.

Пальцем он постучал по циферблату, будто отсчитывал не секунды, а собственное терпение.

— Нынешняя молодёжь поздно ложится, зато слишком рано учится думать. А от таких мыслей сон и не приходит. Ладно. Раз уж пришёл — значит, пришёл. Только в следующий раз не заставляй старика тут зря торчать без дела.

И в его ворчании, как это нередко бывало, сквозила не досада, а едва уловимая забота.

— С пяти утра я тут, — немного раздражённо ответил Солломон, подняв глаза. Он задержал взгляд на Максе, взвешивая сказанное. — Ну что же... Пойдём. Надо успеть потренироваться, пока судьба ещё позволяет нам такую роскошь.

Они разминались молча. Да и что тут было говорить? Всё, что можно было сказать, уже было сказано накануне — ёмко, без прикрас. Макс сбросил одежду, шагнул к воде и, не раздумывая, нырнул. Холодная поверхность сомкнулась над ним сразу, и тело, подчинённое многолетней дисциплине, вошло в привычный ритм с той строгой, почти беспощадной ясностью, какую даёт лишь долгий труд: вдох, выдох, гребок, поворот. Вода приглушала и звуки, и мысли, и тревогу — оставляя ему только тело, дистанцию и упрямую цель, мер-

цавшую впереди.

Соломон стоял на краю дорожки, с секундомером в ладони. Сквозняк шевелил полы его куртки, а на сухом, строгом лице не отражалось ничего, кроме привычной требовательности. Он то и дело наклонялся вперёд и, не повышая голоса, резко бросал в сторону бассейна:

— Не зажимай плечи! Выдох только в воду! Тяни носок!

Макс прибавил ещё сильнее, и казалось, будто он действительно плывёт свой последний в жизни заплыв.

В бассейне в это утро не было никого, кроме них: ни сторожа, ни уборщицы, ни случайного свидетеля — только неподвижная стеклянная гладь воды и гулкое эхо их дыхания, терявшееся под высоким сводом потолка. Тусклый свет, падавший с матовых окон под самой крышей, едва пробивался сквозь удушливый воздух.

Как вдруг где-то за стеной резко хлопнула дверь раздевалки.

Макс всплыл почти у самой середины дорожки, жадно ловя воздух после долгого заплыва. И в тот же миг он заметил, как Соломон внезапно побелел лицом. Тот стоял у края бассейна, словно обращённый в камень, и лишь глаза его метнулись к дверям — стремительно, испуганно, с таким безмолвным ужасом, что, казалось, он увидел что-то паранормальное.

— Макс... — выдохнул он, и голос его сорвался на шёпот. От этой интонации стало страшнее, чем от любого крика. —

Макс, вылезай. Выбирайся немедленно. К чёрному выходу, ты слышишь меня? Быстро!

Макс замер в оцепенении, не понимая, что произошло.

— Что?.. — переспросил он в недоумении.

Но Соломон уже резко взмахнул рукой в сторону раздевалки, не отрывая взгляда от дверного проёма.

— Беги. Я тебе сказал — беги! Живо!

Макс рванул к бортику, цепляясь руками за скользкие поплавки разделительной дорожки. И в ту же секунду дверь распахнулась и в бассейн вошли пятеро.

Они возникли в чёрной форме, будто вышли не из утреннего света, а из самой тьмы; на воротниках безжизненно и тускло мерцали знаки СС. Автоматы лежали у них на груди ровно и естественно, как продолжение руки. С каждым их шагом влажный воздух будто сжимался, и та тишина, что ещё мгновение назад казалась безжизненной, теперь наполнилась неотвратимым предчувствием надвигающийся катастрофы.

Макс вырвался из воды и, босой, бросился бежать; мокрый кафель тут же, сразу же, предательски повёл его в сторону. Он едва не рухнул во весь рост, но в последний миг удержался, метнулся к раздевалке и, не успев даже перевести дыхание, нырнул в чёрный ход за несколько секунд до того, как солдаты ворвались в зал.

Сердце стучало так сильно, будто вот-вот вырвется наружу, разрывая грудь изнутри. Макс мчался, не различая до-

роги, пока не вырвался на улицу. Он остановился лишь за соседним зданием, прижавшись спиной к грязной шероховатой стене. Дыхание рвалось из груди короткими, судорожными вздохами, а ноги дрожали, словно у новорождённого оленёнка.

Как вдруг все звуки вокруг резко испарились.

Именно в этой зловещей, глухой тишине до него наконец дошло главное: он только что оставил Соломона одного на растерзание этим псам. Не потому, что он захотел этого, не из малодушия, он побежал, и — так ему повелел инстинкт, древний и слепой, не признающий ни долга, ни вины, ни отваги. Но осознание и принятие этого факта не принесло облегчения. По сердцу вдруг разлился мерзкий озноб, сковавший грудь, точно это он собственными руками захлопнул за собой дверь перед лицом старика.

Макс вернулся.

Он, почти не касаясь земли, осторожно прошмыгнул вдоль стены бассейна, стараясь ступать так тихо, будто сам воздух мог его выдать. Вскоре перед ним оказалось окно — запятнанное, помутневшее, облепленное мухами. Он прижался лицом к стеклу, задержал дыхание и заглянул внутрь.

На самом краю бассейна стоял Соломон — беспомощный, лишённый одежды, с голыми ногами, ощущавшими холодный кафель под собой. На нём оставались лишь трусы, да и те казались последней жалкой преградой перед тем унижением, которое уже было совершено. Вокруг, сдвинувшись

тесным кольцом, переминались солдаты: одни смотрели с ленивым равнодушием, другие — с неприкрытым, почти жадным ожиданием, третьи — с неподдельным презрением. В их глазах Соломон перестал быть человеком: перед ними стояла лишь беззащитная вещь, которую можно было без труда сломать и столь же равнодушно выбросить.

Офицер, чьи белые перчатки безукоризненно выделялись на фоне всего происходящего, а пенсне строго сидело на переносице, неспешно вращал в пальцах секундомер. Под его командованием солдаты стояли как вытянутые струны, ожидая следующего приказа.

— И что же, старик, где твой ученик? — произнёс он лениво, с подчёркнутой учтивостью.

Соломон молчал. Его взгляд был прикован к тёмной неподвижной воде, будто в её бездонной глади он надеялся скрыть и страх, и боль, и ответы на мучительные вопросы офицера, а вместе с ними — самого себя.

— Мы знаем, что он был здесь, — сказал офицер, чуть склоняя голову. — Не устраивай глупых немых сцен. Нам нужен только он. Скажи, где прячется этот жид, и мы уйдём. Тебя мы не тронем.

Соломон по-прежнему был нем.

Офицер задумчиво замолчал, словно предоставляя старику его последний хрупкий шанс.

— Где он? — произнёс он спустя несколько секунд почти без интонации, и в этом спокойствии уже слышалась угроза.

— Я спрашиваю в последний раз.

Секундомер щёлкнул у него в пальцах. Офицер вздохнул, медленно снял белую перчатку, поправил пенсне и, не глядя на Соломона, коротко кивнул солдатам.

— Помогите ему искупаться, — бросил офицер почти буднично, будто отдавал распоряжение подать чай.

Соломона схватили мгновенно: грубо заломили руки за спину и так туго стянули запястья верёвкой, что она сразу впилась в кожу до крови; почти без промедления связали и ноги. Он не пытался вырваться. Ни крика, ни мольбы, ни малейшего сопротивления — только молчаливая покорность, жуткая в своей беззащитности, будто у телёнка, ведомого на убой.

Офицер не вмешивался: он стоял чуть поодаль и смотрел на происходящее с той вежливой, почти дружеской улыбкой, какая бывает у человека, наблюдающего заранее известный ему финал спектакля. В поднятой руке он демонстративно держал секундомер.

— Ну что ж, — протянул он, не отрывая взгляда от Соломона, — посмотрим, чего стоит еврейская выдержка.

Солдаты грубо толкнули старика вперёд.

Тело его ушло под воду почти без всплеска. Соломон не мог плыть, не мог ухватиться ни за что, и вода тотчас сомкнулась над ним, словно крышка гроба. Лишь на одно мгновение он вырывался на поверхность, жадно, судорожно хватая ртом воздух, — и тут же вновь исчезал в мутной, без-

жалостной глубине.

Вода вокруг него, казалось, кипела от его отчаянных, но уже бессильных рывков. Однако с каждым новым всплеском его движения слабели, стихали и вскоре окончательно прекратились.

Офицер приблизился, чуть склонив корпус вперёд, и с нескрываемым любопытством всматривался в происходящее. Наконец он заговорил — тихо, почти по-товарищески:

— Старый дурак... Зачем ты его выгораживаешь? Всё уже давным-давно предreshено, и спасти его всё равно не выйдет.

Но ответа не последовало: Соломон уже не мог больше вымолвить ни единого слова.

Минуты тянулись нестерпимо медленно — одна за другой. Сначала прошла первая... Вслед за ней вторая... Потом третья. Пять. Восемь. В тесной, давящей тишине, нарушаемой лишь редкими, почти незаметными всплесками в бассейне агонизирующего тела Соломона, Макс стоял у окна, не в силах оторвать взгляд от того, что происходило внутри. Казалось, время остановилось, растянув каждое мгновение в бесконечную муку.

«Это моя вина, — глухо отдавалось у него в висках. — Если бы я не пришёл сегодня... Если бы остался рядом с ним, не ушёл, не сбежал...»

Он крепко зажмурился, надеясь отогнать мучительное видение, но оно не отступало. В сознании вновь и вновь вспыхивали обрывки воспоминаний и все десять лет, прожитые

плечом к плечу с Соломоном.

Старик был для Макса не просто наставником. После пропажи родителей он стал самым родным и близким человеком в его жизни. Именно Соломон учил Макса ездить на велосипеде, помогал, когда у того что-то не получалось, и всегда был рядом в трудные моменты. Если Макс приносил из гимназии двойки, в школу шёл не кто-то из родителей — разбираться с учителями приходилось Соломону. А когда в детстве мальчик разбил коленку, именно старик аккуратно промыл и перевязал рану, долго дуя на неё, чтобы унять боль. Даже когда родители не позволяли заводить собаку, Соломон нашёл бродячую дворнягу и позволял Максу каждый день приходить к ней.

И вот теперь этот человек умирал в страшных мучениях прямо у него на глазах.

«Он отдал за меня жизнь... А я стою здесь и смотрю, — с горьким стыдом думал Макс. — Как трус. Как предатель».

Во рту у него разлилась кислая слюна, а к горлу подступила тяжёлая, жгучая тошнота. Он пытался крикнуть, выдавить хотя бы одно слово, но из груди не вырвалось ничего — лишь глухой, утробный спазм. Ноги и руки свело судорогой, и всё тело затряслось крупной, беспомощной дрожью. От нечеловеческого напряжения в глазу лопнул капилляр; тёплая кровь, смешавшись с влагой, ещё не высохшей на коже, медленно стекала по лицу и капала на руки.

А в бассейне всё ещё продолжалась расправа.

Спустя десять минут жуткой агонии всё было кончено: тело под водой окончательно обмякло и замерло, время от времени переворачиваясь то на правый бок, то снова лицом вниз, то на левый.

— Довольно, — сухо бросил офицер, не глядя на утопленника, и щёлкнул секундомером.

— Обыскать тут всё. Немедленно.

Солдаты без лишних вопросов загрохотали сапогами по полу. Они опрокинули лавки, распахнули шкафчики, заглянули под скамьи и в самые глухие, тёмные углы раздевалки. Однако их обыск оказался тщетным: они вернулись ни с чем.

— Чисто, — коротко бросил один из них.

Офицер презрительно искривил губы, словно услышал нечто нелепое и не достойное ответа. Привычным движением поправив пенсне, он бросил взгляд на неподвижную гладь бассейна и, почти не разжимая губ, процедил:

— Ну и чёрт с ним. Сбежал, значит, крыса.

Он на миг замолчал, а затем добавил уже громче, чтобы все услышали:

— Ничего. От нас им всё равно не уйти. Рано или поздно всех переловим.

С досадой и с каким-то почти брезгливым раздражением он швырнул секундомер на бортик — словно ненужную вещь. Тело Соломона, неподвижно лежавшее в воде, он даже не удостоил взглядом. Развернувшись, он сухо бросил несколько слов своим людям, и уже через минуту грузные

шаги, лязг сапог и глухой гул моторов начали уходить прочь, растворяясь в остатках утренней мглы.

Когда машины исчезли за поворотом, над бассейном опустилась тишина — такая густая, что в ней слышалось собственное дыхание и робкий всплеск утасающих волн бассейна, ударяющихся о бортики.

Макс выждал ещё немного, пока окончательно не стих гул моторов, и только тогда выбрался из укрытия. Вода успела успокоиться и легла почти неподвижным зеркалом, лишь время от времени по её поверхности расходились слабые круги у самого края дорожки. Тело Соломона медленно покачивалось у бортика.

На мокром кафеле неподвижно лежал секундомер, брошенный туда офицерской рукой. Его стекло было разбито, а стрелка навсегда замерла на десятой минуте.

Макс стиснул секундомер в ладони и, почти не взглянув на него, убрал в карман мокрых плавок.

Затем он медленно, с почти сыновней нежностью, вынул тело Соломона из воды, опустился на колени и бережно провёл пальцами по седым, ещё влажным волосам. Лицо старика застыло в странном покое, почти в умиротворении; лишь синева под ногтями без слов говорила о недавней агонии.

— Ты хотел, чтобы я сбежал... Я сбежал, — произнёс он почти с надрывом, и на последнем слове голос его дрогнул и оборвался. — И что теперь? Ты мёртв... Сволочи... Будь они прокляты...

— Они забрали твоё тело, — прошептал он, с трудом сдерживая боль, — но твою душу я им не отдам. Здесь я тебя не оставлю. Нет... Не оставлю.

Он направился в раздевалку, торопливо оделся, затем подхватил тело под мышки, поднял его с кафеля и поволок к выходу. Соломон казался почти невесомым: и при жизни старик был не тяжёл, а смерть и вовсе окончательно сняла с него последний груз земного тела.

Запасной ход выводил на пустырь — к месту, где когда-то начали копать котлован, но так и не довели дело до конца. Земля там лежала мягкая, рыхлая, словно давно уже ждала, чтобы принять в себя мёртвое тело. Но не было ни лопаты, ни времени на её поиски.

Макс опустился на колени и, не тратя ни мгновения на колебания, вонзил голые руки в сырую землю. Она не сразу поддалась ему: сырая, глинистая, она цеплялась за пальцы, забивалась под ногти, сдирала кожу до крови. Но он не ощущал ничего. Резкая боль в ладонях почти казалась спасением, на миг оттесняя и заглушая душевные муки.

Время утратило для него всякий смысл — то ли минуло двадцать минут, то ли прошло несколько часов, он не мог бы сказать. Макс, задыхающийся и измученный, лишь тогда замедлил движение, когда яма, казалось, достигла нужной глубины. Он выпрямился на мгновение и опустил взгляд на Соломона.

Тот лежал на земле неподвижно. Закрытые глаза делали

его похожим на старика, который всего лишь задремал после тяжёлого и долгого дня. Макс неторопливо опустился рядом, осторожно коснулся холодной ладони Соломона и на миг сжал её в своей. После этого он так же мягко разжал пальцы и, не зная ни молитв, ни обрядов, осторожно положил руки Соломона ему на грудь.

Потом он, собрав последние силы, дотащил тело до ямы и толкнул вниз. Оно опустилось тяжело и глухо, словно мешок с камнями. В лицо ему ударил влажный, сырой запах земли. Комья, срываясь с края, один за другим осыпались следом, шурша и степенно скрывая грудь, плечи, лицо мертвеца. Он засыпал могилу неторопливо, и каждая горсть падала, точно его последнее прощание со стариком.

Когда всё было кончено, он каблуком примял свежую землю. Ни креста, ни камня — ничего, что могло бы удержать память на этом месте. Только неровный бугорок, которому суждено проступить здесь на короткую неделю, а потом и он исчезнет, сровнявшись с пустырём, будто этой могилы никогда и не было. И никто не придёт сюда — кроме него.

Макс стоял, не отрывая взгляда от свежевырытой земли. Он хотел что-то сказать, но слова, как тяжёлые комья, застряли в горле. Ветер тонко свистел в ушах, и мир вокруг словно опустел, растворившись в молчании, где остались только пустырь, могила и он.

Он повернулся и пошёл прочь, не оглядываясь.

Только когда пустырь остался позади, весь в грязи, с зем-

лёт под ногтями и с такой болью в груди, словно из него вырвали сердце, он вдруг осознал, что плачет. Из правого глаза, где от жуткого напряжения лопнул капилляр, сочилась кровь; смешиваясь со слезами, она крупными каплями падала на землю. Дыхание его сбивалось на нервные вдохи, в горле застрял тяжёлый ком. Не страх и не боль сжимали ему грудь — страшнее было иное: он остался один, окончательно и бесповоротно один на целом свете.

Соломон был мёртв. Макс — жив. Но вместе со стариком в нём самом оборвалось нечто невозвратимое, и теперь внутри образовалась дыра — тёмная, бездонная, как могила, у края которой он только что стоял.

Глава 17. Слепые окна гестапо

Макс выбрался с пустыря и пошёл дальше по улице, не разбирая дороги. Он брёл, опустив глаза. Руки его были в грязи; ногти сломались, и под ними чернела земля, вьёвша-ся так глубоко, что её не могли стереть ни ладони, ни ткань брюк, о которые он по привычке тёр пальцы. Одежда вымокла до последней нитки и липла к телу. На правой щеке, там, лопнул капилляр, уже засохла тёмная корка.

Плоть, как ни странно, медленно приходила в себя, затягивая раны. Но душа по-прежнему истекала кровью.

Гул города доходил до него приглушённо, словно пробиваясь сквозь каменную кладку или толстый слой ветхой ваты. Он не смел поднять головы и не смотрел на прохожих: боялся, что кто-то разглядит его лицо, испачканную одежду, засохшую кровь — и всё поймёт без единого слова. Ему казалось, что чужие взгляды, зацепившись за него, начнут задавать вопросы, на которые у него не осталось ни сил, ни ответов.

Лишь в тени тёмной арки он на мгновение замер, огляделся и, убедившись, что рядом никого нет, вынул из кармана плавок секундомер. Стальной, разбитый, он тяжело лёг в ладонь, будто маленькое железное сердце, ещё хранившее тепло рук Соломона. Макс провёл пальцами по его краю и, чуть помедлив, спрятал в жёсткий шов воротника — туда,

где ткань была плотнее и почти не гнулась.

Единственное, что осталось от Соломона. Единственное, что ещё можно было сохранить как память о нём.

Он свернул в один переулок, потом в другой, упрямо надеясь выбраться к дому, — но силы уже оставляли его. Мышцы ног забились, дыхание рвалось из груди, и, споткнувшись о высокий бордюр, он тяжело рухнул на колено. На мгновение Макса пронзила боль, и он вздрогнул, но затем, стиснув зубы и собрав в себе последние остатки воли, он с трудом поднялся и пошёл дальше, пошатываясь, словно пьяный.

В самом конце узкого переулочка, среди городского мусора и отходов, громоздилась тележка старьевщика — заваленная ржавым железом, лохмотьями и всякой ненужной дрянью. Рядом стоял старик в засаленной фуражке; лицо его, серое, почти пепельное, казалось высеченным из камня. Он не отрывал взгляда от Макса.

Тот шёл, уже еле-еле держась на ногах: насквозь промокший, весь в грязи, с закоченевшими и покрасневшими от холодной земли руками, он с трудом сохранял равновесие. Старьевщик следил за ним молча и неподвижно, не мигая, пока тот, стараясь обойти тележку, не приблизился вплотную.

И вдруг старик ухватил его за рукав.

— Эй, парень... — протянул он хрипло, с настороженной, почти сердитой ноткой. — Куда это ты собрался в таком виде? На тебе живого места нет, ей-богу.

Он прищурился, вглядываясь в лицо Макса, и, заметив

тёмную полосу на щеке, нахмурился ещё сильнее.

— А это что у тебя? — спросил он тише. — Кровь, что ли? Ты с кем-то подрался?

Макс резко выдернул руку, но старик уже успел поднять свисток к губам. Резкий, пронзительный свист рассёк утреннюю тишину, будто надвое разломил хрупкий покой. Почти тотчас из-за угла послышался тяжёлый топот, за ним — хриплые, надрывные окрики:

— Стоять! А ну, стоять! Полиция!

Макс рванулся вперёд. Он бежал, то и дело спотыкаясь, и с каждым шагом ощущал, как ноги становятся чужими и не слушаются его. Сделав несколько неровных рывков, он вновь рухнул, на этот раз плашмя, всей грудью, и до крови содрал ладони о влажный булыжник мостовой.

Через мгновение сзади на него обрушились двое в форме. Крепкие руки безжалостно заломили ему запястья за спину и вдавили в землю. Кто-то коротко и зло ударил его ногой в бок — не сильно, но так, что воздух враз вылетел из лёгких. Макс согнулся пополам, судорожно пытаясь вдохнуть и жадно ловя ртом сырую утреннюю морось.

— Лежать! Я сказал — лежать! — рявкнули ему прямо в ухо. — Не дёргайся, слышишь?

Затем начался обыск — грубый, почти варварский: выворачивали карманы, заламывали руки, тщательно ощупывали всё тело, не исключая пах и ягодицы.

Секундомер, искусно спрятанный в воротник, они так и

не обнаружили.

Зато жёлтая звезда с надписью «Jude», «Еврей», грубо нашитая на груди, тотчас же бросилась им в глаза⁶. Один из них, не скрывая брезгливой гримасы отвращения, ткнул в неё пальцем и с кривой усмешкой бросил напарнику:

— Посмотри-ка, какая добыча... Целый еврей. Весь в грязи, побитый, да ещё промокший до нитки. Без сомнения, беглый. Забираем.

Макса подняли с земли, защёлкнули на запястьях наручники. Он не успел ни вырваться, ни произнести хоть слово: его грубо впихнули в серый «Опель», а затем завязали глаза грязной, пахнувшей потом и пылью тряпкой. Дверца с глухим стуком захлопнулась, и машина рывком тронулась с места.

Внутри автомобиля пахло бензином и сырой кожей. Где-то под днищем скрипели рессоры. Макс сидел, не шевелясь, и слышал лишь глухой стук собственного сердца.

⁶ 1 сентября 1941 года вышло распоряжение, обязывающее всех евреев старше шести лет носить на одежде отличительный знак — жёлтую шестиконечную звезду Давида с чёрной каймой и надписью «Jude». Её размеры были строго регламентированы: не менее 10 сантиметров в диаметре, на практике — от 9 до 12 см, примерно с мужскую ладонь. Знак следовало нашивать на левую сторону груди, на уровне сердца, поверх верхней одежды. Звёзды производились на текстильных фабриках и продавались через еврейские общины — сами жертвы вынуждены были платить за своё клеймо (около 10 пфеннигов за штуку). Этот унижительный знак вводился не только для изоляции и публичного позора: он стал инструментом тотального контроля, предшествовавшим массовым депортациям. Уже в октябре 1941 года из Германии, в том числе из Кёльна, начали отправлять первые эшелоны евреев в лагеря уничтожения. Жёлтая звезда превращала незащищенных граждан в лёгкую мишень на улицах собственного города.

И вдруг автомобиль, словно наткнувшись на невидимую преграду, резко остановился.

Когда с его глаз сорвали повязку, Макс на мгновение зажмурился от резкого света. Перед ним, словно выросшее из самой сырой земли, возвышалось серое здание с узкими окнами — слепыми, мутными, точно бельма на глазах старухи.

Гестапо⁷.

Его без церемоний втолкнули внутрь, в помещение, и он сразу ощутил, как тьма коридора сомкнулась вокруг него. Тускло подрагивавшие лампочки не столько освещали путь, сколько усиливали ощущение обречённости. Стены, холодные и влажные, словно пропитались сыростью, плесенью и животным страхом.

⁷ Гестапо — тайная государственная полиция Третьего рейха — было создано 26 апреля 1933 года в Берлине. Название произошло от почтового сокращения полного наименования *Geheime Staatspolizei* (Тайное государственное полицейское управление). Ключевой момент, важный для понимания событий тех лет, наступил в 1939 году, когда гестапо официально вошло в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА), став его IV управлением, что превратило его из жестокой полиции в централизованный, ужасающе эффективный карательный аппарат. Гестапо было выведено из-под действия законов и обладало абсолютной властью: оно могло арестовывать, пытать и отправлять людей в концлагеря без суда и следствия, используя так называемое «превентивное заключение» (*Schutzhaft*). В Кёльне штаб-квартира гестапо располагалась в здании Эль-Де-Хаус (EL-DE Haus) на Appellhofplatz 23—25, где с 1935 по 1945 год находилось и его управление, и тюрьма, где пытали и содержали заключённых.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.